

Федор Чешко



Ржавое
заревое

Сказанья о были и небыли

Федор Чешко

Ржавое зарево

«Снежный Ком»

2002

Чешко Ф. Ф.

Ржавое зарево / Ф. Ф. Чешко — «Снежный Ком»,
2002 — (Сказанья о были и небыли)

"...Он способен вспоминать прошлые жизни... Пусть боги его уберегут от такого... Дар... Не дар – проклятие злое... ..Росло, распухало, вздымало под самые тучи свой зализанный ветрами оскал древнее каменное ведмедище... И креп, набирался сил впутавшийся в чистые запахи мокрого осеннего леса привкус гари... неправильной гари – не пахнет так ничто из того, что обычно жгут люди... ..Искони бьются здешний бог Световит с богом Нездешнего Берега. Оба искренне желают добра супротивному берегу, да только доброе начало они видят в разном... А все же борьба порядка с безладьем – это слишком уж просто. Еще что-то под этим кроется, а что? Чтобы понять, наверняка не одну жизнь прожить надобно... ..А ржавые вихри завивались-вилились вокруг, темнели, плотнели, и откуда-то из этого мельтешенья уже вымахнула кудлатая когтистая лапа, лишь на чуть не дотянувшись, рванув воздух у самого горла, и у самого уха лязгнула жадная клыкастая пасть... ..И на маленькой перепачканной ладошке вспыхнул огонек. Холодный, но живой и радостный. Настоящий..."

Содержание

Пролог	8
1	27
2	39
3	50
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Федор Чешко

Ржавое зарево

Светлой памяти моего отца и наставника

...За разговором оба они не заметили, как миновали опушку и углубились в мягкие сумерки редколесья, где чаща-матушка словно бы решила проверить уживчивость елей, дубов да берез. Видевищуся почти черной траву густо пятнали рыжие лучи клонящегося к закату Хорсова лика – лучи, похожие на немислимой длины копья, наискось пронзающие древесные кроны и уходящие далеко-далеко, к самому златому лику светородного бога.

Кудеслав ловил себя на том, что мимо воли старается обходить их, эти лучи, словно бы опасаясь не то ушиба, не то ожога – до того они были прочными, настоящими. А когда легкие порывы верхового ветра принимались шевелить ветви деревьев, от мелькания прозрачных столбов золотого света кружилась голова...

Эх, если бы только от этого кружилась несчастная голова Кудеслава Мечника!

Не вполне минувшийся ушиб...

Виденье иззубренного каменного лезвия – легко, будто бы даже ласково скользило оно по горлу старейшины, который ради счастья и благополучья вверившейся ему общины жертвовал сперва правдой, потом родовичами, потом собою, и все его жертвы приносили одно только зло...

Виденье толпы – как она негодует, бурлит; как братья-родовичи, паростки единого вятского корня волками щерятся друг на друга...

А потом та же толпа молчала, и все лица сделало совершенно одинаковыми одинаковое выражение растерянности, страха, наклепленное на них вестью о гибели старейшины и Неугасимого Огнища... Да, в тот миг все впрямь сделали друг другу родными. Надолго ли? Погиб неудачно жертвовавший себя Яромир, смертью подтвердив свою виноватость, но остался главный виновник чуть не заварившейся кровавой усобицы (вот он, здесь, рядом – вину-то признал, только, похоже, вовсе не считает ее виною). И остались тайные Яромировы поплечники из своих же общинников. Их станут выискивать и наломают дров... А подлинный затейник примется довершать свою затею, ради всеобщего благополучия не милуя никого...

И уже не важно, отдадут или не отдадут себя родовичи под руку "старейшины над старейшинами всех вятских племен"; неважно, охотники ли подломают под себя кователей-слобжан, слобжане ли взнуздают охотников... Для общины нет разницы между этими исходами потому, что нет более общности, а, значит, нет и самой общины. Она, как Неугасимое Огнище, захлебнулась в пролитой Яромиром крови.

Да, было от чего кружиться и болеть несчастной голове Мечника Кудеслава.

А еще Мечнику Кудеславу было холодно – вешним вечером все-таки несладко в лесу босому и без рубахи. Думалось, прогулка получится краткой, но тягостные воспоминания и еще более тягостная беседа напрочь сожрали ощущение времени.

Заметив, что Кудеслав знобко обхватил руками голые плечи, волхв тихонько спросил:

– Озяб?

– Перетопчусь! – Мечник выпрямился, опустил руки. – Озяб – согреюсь, дело не смертное. Ты мне вот что растолкуй, ты, мудрый! Вот Яромир. И вот ты. Один одного хотел, другой – вовсе наоборот. А чтоб своего добиться, творили одно и то же. Ну то есть СОВЕРШЕННО одно и то же. Яромир-то, бедолага, поди, так и помер, не догадавшись, что он не сам все придумал... Как же это? Получается, что вы с ним совсем-совсем одинаковые, а чего хотеть, чего добиваться – это в конце концов и неважно? Яромир бы свалил все на извергов да слобжан, сказал бы: "Вот каким образом склоняли нас принять волю старейшины над

старейшинами!" Ты бы... Нет, без "бы". Ты свалил все на Яромира: "Вот каким образом нас не пускали под руку Волкова родителя!" А образ-то один. Одинаковый. Твой и его. "Вот как плохо поступили те, кто хотел не того, чего хотел я – значит, они хотели плохого", – да? Только кто поступал-то?! По чьему умыслу творилось то, что творилось?!

– Думаешь, я все это затеял ради себя?! – глаза хранильщика полыхнули недобрый черным огнем. – Думаешь, мне легко было затевать такие затеи?! Но ради...

– Не нужно рассказывать, ради чего ты все затевал! Я знаю ЧТО ты делал, и мне этого вот так, – Кудеслав чиркнул кончиками пальцев по своему горлу. – А ради чего... Это, оказывается, не важно.

Вздыхнул Белоконь, волхв-хранильщик Светловидова капища; вздохнул, потупился.

– Ну, и что же ты (волхв приударил на это "ты", словно бы гвоздь вколотил) собираешься делать теперь?

– Векиша скушает по родителю... – проговорил Мечник, глядя куда-то в занавешенную листовую высь да рассеянно теребя стриженную свою бородку.

– Уйдете на Ильмень-озеро?

– Да! – Кудеслав мельком скосился на хранильщика и вновь отвернулся. – Здесь будет много крови. Крови между своими. Воспрепятствовать этому я не могу. А видеть – не хочу. И проливать кровь сородичей я больше не стану, уразумел?

– Думаешь, на Ильмене будет иначе?

– Не думаю. Но мой род здесь. Что бы ни болтали старики, я не урман. Я своему роду не чужой. Это на Ильмене я стану чужим. И слава богам.

– Это трусость, – сказал Белоконь.

– Да, – подумав, согласился Мечник. – Наверное, это трусость.

Хранильщик вдруг не по-хорошему блеснул запламеневшим угольем глаз:

– А ты, друг-брат, подумай-ка над безделкой: выпустят ли вас добром из здешних чащоб? Родовичи твои хотят тебя вместо Яромира, все хотят; а от согласной воли рода не вдруг отмахнешься... особенно, когда род напуган...

– Грозить?

– Что ты, – как-то очень уж искренне изумился волхв, – и в мыслях не держал, борони меня боже...

– Боже? – Кудеслав прищурился со злобной усмешкой. – Это который? Световит-Род? Или другой какой? Уж не тот ли, чье потайное святилище ты в мертвой дубраве блюдешь? Не тот ли, что жалует тебе колдовские беспромашные стрелы?

Он осекся, потому что Белоконь вдруг как-то... одряхлел – не одряхлел... усох, что ли...

– Подсмотрел, значит... – тихо сказал волхв. – Я так и знал, что это ты тогда... Знал... Никого бы другого ржавая стрела не помиловала. Я тогда в жизни первый и единственный раз видал, чтоб ржавое низошло только пугнуть. Счастлив ты, Кудеславе, все-то ты надобен – оттого до сих пор и цел... – Хранильщик вдруг подался вперед и зашептал торопливо:

– Но пойми: надобный надобен лишь пока совершает надобное. А как вдруг что наперекор – тогда он уже помеха. Ты не ершишь, ты подумай; это же я не в угрозу, я предупредить... Верь, всего безопаснее тебе здесь...

Оборвалась эта захлебистая шепотливая скороговорка так же внезапно, как и началась – на полуслове и полумысли. Волхв отвернулся, кусая губы. Ошарашенный Мечник глядел на него, пытаясь понять, жалость или гадливость вызывает ссутуленная вздрагивающая спина бывшего друга. Пытаясь понять и не понимая.

Вечерело. Блекли, пропадали дивные столбы ярого Хорсова злата. Лес медленно впускал в себя сумерки.

– ...е-е-сла-а-в!

Возле самой опушки, там, где было еще светло, появилась тонкая белая фигурка, за голову которой словно бы зацепился последний луч умирающего дня.

– Знаешь, а ведь ты меня все же уел, старик!

Хранильщик стремительно обернулся, и Кудеслав чиркнул нежданно веселым взглядом по его замытому полумглою лицу (белоснежные заросли волос, бороды и усов, а посреди – темное пятно с влажными отблесками удивленных глаз). – Уел! Что бы там ни было, а я тебе по край жизни буду обязан за твой подарок.

– Дурень ты! – вздохнул Белоконь. – Привередничал, на самых завидных девок глядел, как на синиц аист, искал чего-то, искал – ох же ж и выискал себе проклятье ходячее! Меч твой утопила... Да десяток таких, как она со всем ее волховским наузным уменьем не то что меча – ножика худого не стоит! У тебя пальцев на руках да ногах не достанет счесть, сколько по Векше твоей, проданной-перепроданной, мужиков отбелозило! За твою доброту она даже дитем отдариться не сможет, дурень, ой же ж и дурень ты!

Мечник не слушал.

Он торопливо уходил туда, к еще нетронутой сумерками опушке, откуда неслось звонкое, зовущее:

– ...у-де-е-сла-а-ав!

И горизонт шел ему навстречу.

Пролог

Мечник сам затянул с отъездом аж на четыре никому в общем-то не нужных тягостных дня: никак не мог решиться на прощание с названным своим родителем Велимиром. И в град не хотелось, потому что ни с кем из родовичей видеться душа не лежала; и само прощание грозило получиться тяжким да муторным; и... Вот это-то еще одно “и” не замедлило оказаться куда серьезнее остальных-прочих.

Что железноголовый Урман сызнова наладился прочь из родимых краев, в общине ухитрились дознаться почти мгновенно. Может, это Белоконь расстарался. А может, нет: вести и безо всякой там ведовской помощи умеют разбегаться куда попало с прытью, не доступной ни людским, ни конским ногам (диво общеизвестное, хоть разумного объяснения ему нет). Так, иначе ли, но со следующего же утра после мечникова с волхвом памятного разговора повадились на волхвов двор гости. Не к хозяину повадились – к Мечнику. За два дня гостей этих перебивало больше десятка, причем наезжали они друг от друга украдкой, а при случайных встречах только что драки меж собою не затевали. И однако, являлись все они ради одного и того же.

Оказалось, большинство сородичей впрямь очень хочет Кудеслава в старейшины. Даже самочинцы хотят: ведь ему ведомо, каково быть не таким, как все, а значит и к извергам должен бы он относиться терпимей, чем тот же Яромир... И при этом слобожане да углежогии наверняка вознадеялись, что коль Мечник однажды выручил их, то и впредь на него можно рассчитывать. А охотники и те, кто с ними, несомненно уверены, будто честный Мечник, однажды качнувшийся в сторону слободы, в следующий раз для справедливости качнется в противоположную сторону.

Да, какими ни разными бывали незваные эти гости, а желали они от Мечника одного и того же, и добиться желаемого пытались почти одинаково.

Обвинения в трусости.

Обвинения в небрежении судьбою родовичей.

Рассказы о долге перед общиной (особо горазд на такие доводы оказался изверг-отщепец Чернобай).

А потом – проклятия на Векшину голову. Даже это, последнее, Мечник выслушивал молча, с закаменелым лицом... хотя нет, в лице его, наверное, все же что-то менялось. Потому что входившие было в раж собеседники вдруг одинаково давились недоговоренным и убирались прочь. Спешно убирались, иные почти бегом. А иные и не почти.

Получалось, что едва ли не единственной причиной мечникова ухода родовичи мнят именно Векшу. Причаровала дурня колдунья-наузница, уводит, будто кобеля на ремне... жабоедка... рыжая гадина... мертвобрюхая... подстилка перекупленная... и эти словечки еще отнюдь не самые крепкие из сыпавшихся на ильменкину голову.

Вот и продолжал Мечник тянуть-оттягивать прощальную свою поездку в общинный град (а значит, и вообще отъезд тоже).

Чтобы все гости этак вот одинаково взъелись на ильменку... Тут поневоле задумаешься: не с чужого ли голоса, не нашептана ли им эта злоба? А кто бы мог нашептать? Легкий вопрос.

Уж Белоконь-то наверняка понимает: несчастье с Векшей – единственный способ удержать Кудеслава в общине. Спровадь ее кто-нибудь в Навьи, Кудеслав непременно затеет выискивать убивца, а там... Покуда найдет, покуда сумеет отмститься, можно будет отвратить его от ухода. По-всякому: уговорами, ведовством...

Так что тащить Векшу с собой в град нельзя: путь-то не долог, но и не короток, да все лесом... Ведь не убережешь же, будь ты хоть какой-раскакой умелейший воин! Свистнет откуда-нибудь из-за дерева остроклювая пташка – и поминай, как звали. Да и в самом граде

небезопасно. При нынешних делах кое-кто не смутится попотчевать уклад-железо жизнью собственного сородича, а уж про жизнь какой-то там инородки и говорить нечего.

Выходит, самому ехать, а Векшу на Белоконевом подворье оставить? Одну... Беззащитную... На целый полный день – от темна до темна (скорее никак не обернуться)... Будь волхв Белоконь пускай даже хоть каким хитромудрым, но обычным простым человеком – так и бояться бы нечего. Волчина близ своего логова не убивает. Ежели хранильник позволит Кудеславу заподозрить себя хоть даже в непрямом пособлении векшиной гибели – конец всему и без того хлипкому замыслу гибелью этой самой Мечника удержать.

Но это бы по обычной людской мерке. А что способен злоумыслить такой могучий кудесник да какую может он порчу навести на ильменку – то, небось, и богам не угадать наперед. Векша вон, к примеру, и так поскуливает, будто Кудеслав ее, купленную-перекупленную да рожать не способную, берет за себя из одной жалости только, и непременно вскорости бросит, потому как жалость – припона износчивая... Мечник уж язык о зубы вдрызг измочалил, угваривая, только все уговоры – как вода в песок. Оно конечно, бабий разум именно разумом-то называть и не следует, но такая глупость даже для бабы слишком глупа. А к Векше ведь и словцо-то это самое – “баба” – лепится плохо; в иных делах она и мужику нос утрет... Так не наслано ли? А если можно наслать такое, то и... О-ох!

Получается, и собой брать нельзя, и одну оставить нельзя. И вообще лучше бы поскорей убраться из волхвова обиталища. Так может, вовсе не ездить в град? Если б же хоть по пути было... Но нет – лесная тропа, которою пробиравшиеся к себе на Волглу-Итиль хазары довели до здешних краев Векшу, тянется чуть ли не через самое белоконевое подворье. Есть, конечно, еще и речной путь, но водяная дорога больно длинна да многотрудна: долгонько придется петлять по лесным речушкам, прежде чем боги дозволят выбраться на Мсту, а по ней – к Ильмену. Да еще позволят ли боги случиться такой удаче? На реке не шибко-то спрячешься, и опасное место, пlying, не обминешь...

Нет уж, вдвоем через места, где нередко пропадают даже большие отряды, все-таки безопаснее отправляться сухоходом. И стало быть, как ни верти, а придется тебе, мил-друге Кудеславе, до окончательного отъезда хоть на денек со хранильникова двора да выбраться – хотя бы чтоб раздобыть коней для дальней дороги (у хранильника брать нельзя, тот может порченных всучить – не из хитрости, так с досады). Да и увильнуть от прощания с названным отцом и с родительским очагом – то вовсе нехорошо будет, не по-людски. После такого, поди, станет невмоготу глядеть на собственное отражение в стоячей воде (именно в стоячей, спокойной, позволяющей видеть даже выражение глаз)...

И еще кстати... верней, некстати... Коли удастся (помогите в том, боги!) сберечь ильменку до окончательного отъезда, то именно отъезд-то и станет для нее самым опасным. Верней, не отъезд даже, а первые день-полтора пути. К примеру, снова ж таки невесть чья стрела из кустов. Нет, не до смерти. Но так, чтоб “выживет – не выживет” мгновения бы решали; чтоб ты, Кудеславе, обо всем прочем враз позабыл да кинулся искать для любви своей исцелителя. Спасителя. Ведуна. А к кому из ведунов при такой беде успеется тебе за подмогой скорее, чем даже к Звану-кователю? И чего он, ближайший этот, требует за спасение Векши? Так-то...

Время шло, ничего умнее “и так плохо, и эдак не лучше” Мечнику не придумывалось... В конце концов он решился рассказать о своих сомнениях Векше. Конечно, не обо всех и очень осторожно. Уже ведь бывало, что ильменка с перепугу кидалась не в ту сторону (не назад, а вперед то есть). Потому, рассказывая, Кудеслав упирал не столько на опасность, сколько на “негоже дозволить хранильнику оборотить-таки дело к его неправедной выгоде”.

И Векша сказала:

– Поезжай в град один. Не бойся. Он, этот-то, не отважится мне сильное зло учинить, знает же: если со мной что, так ты на него сразу подумаешь. Он исподволь попробует, мало-

стью... А таким, если не в распах, меня не взять... даже ему. А я настороже буду. Ты не сомневайся, ты езжай. Только возвращайся быстрее, ладно?

Это она так сказала после Мечниковых истовых клятв, будто для него самого поездка безопасна – не станут покушаться на жизнь того, кого еще надеется удержать вся община. И волхв поперек себя выкручивается в попытках сбросить хотя бы тень прежней дружбы...

* * *

Из сарая, в котором они с Векшей повадились ночевать, Кудеслав хотел убраться тишком. Не удалось. Стоило Мечнику выскользнуть из покрытого мехом травяного ложа, как мгновенно подскочила и наузница.

Одеваясь при свете еще с вечера зажженной лучины (опасно людям спать в крошечной тьме – тьма людям не друг) Кудеслав искоса поглядывал на ильменку. Сидит, привалясь голой спиной к замшелым бревнам стены, подрагивает зябко, позевывает, трет кулаками глаза, и в такт ее сонливым вялым движениям упруго вздрагивают-покачиваются на двух крепких округлостях желтые блики светоносного огонька...

Наверное, Векша очень старалась не заснуть и теперь изводилась горьким недоумением: ведь кажется лишь на кратчайший осколок мига разрешила себе призакрыть глаза – и на тебе!

Впрочем, ильменка не слишком-то много времени растратила зря.

Встряхнувшись, она сбрыкала с ног полсть-покрывало и ушмыгнула в траченный отсветами лучины полумрак – туда, где вздыхали-пофыркивали спящие лошади. Мечник смутно различил Векшину тень в дальнем углу, в котором у Белоконя были развешаны седла, уздечки и прочее; потом с душераздирающими вздохами посреди сарая пошла вспухать черная глыба, неторопливо принимающая очертания коня... нет, кобылы. Векша седлала кобылу, которая была не многим хуже хранильникова любимца Беляна.

О своем ночном отъезде Кудеслав волхва не предупреждал и лошадь у него не просил. В просьбе не было нужды. Белоконь безо всяких просьб недавно сказал: "Покуда живешь у меня, располагай любым моим достоянием". Другое дело, сам Мечник выбрал бы что поплотше – мало ли чем вывернется поездка... Да и вообще: пускай с волхвом у него все стало иначе, нежели в прежние добрые времена, но Кудеславу претило рассиживаться на шее бывшего друга, всю пользуясь его слабостью (пускай даже и неискренняя она, расчетливая, слабость эта). А вот Векша такими великодушными помыслами не изнурялась. Наверняка она без малейшего зазрения совести попыталась бы взнуздать для мечниковой поездки Беляна, да только знала: норовистый жеребец скорее подойдет, чем пустит к себе на спину кого-нибудь, кроме хозяина.

Длинно и слезно пожаловалась на ветхость отворяемая створка сарайных воротец, в открывшемся проеме мелькнула залитая звездным белесым светом недалняя лесная опушка – мелькнула, и тут же отгородилась от мечникова взора огромной тенью: Векша повела лошадь наружу.

Кудеслав вздохнул и двинулся следом.

Все-таки его одолевала досада, что не получилось ускользнуть незаметно. Спасибо, конечно, ильменке за помощь да заботу, а только помощь эта грозила выйти Мечнику боком.

После того, как Кудеслав столь рьяно убеждал (и ведь убедил же!) Векшу, будто бы для него предстоящая поездка ничуть не опасна, казалось ему немислимым надеть в дорогу панцирь и шлем. А ведь защитная боевая одежда была бы для Мечника вовсе не лишней. Мало ли чего удалось натолкать в ильменкины уши ради спокойствия их хозяйки!

А на деле...

На деле тайные поплечники Яромира еще не раскрыты, и кто-нибудь из них (если не все) вполне может пожелать отомститься Кудеславу. По пути ко граду их можно не опасаться (им

ведь неведомо, когда именно Мечник собирается навестить Велимира), но вот на обратном пути...

Но главное даже не это. Главное кроется в том, что волхв-хранильник вполне может выдумать еще один способ придержать Кудеслава в здешних краях. Рана. Причем на такой случай лукавоумный волхв способен выдумать и что-либо позаковыристее стрелы. И себя же попробует выставить спасителем, исцелителем, отмстителем...

Да, кстати, ох как кстати пришлось бы в ту ночь ратное одеяние! Но вот – не повезло.

Оставалось надеяться на воинское уменье нутром чують опасность, да еще на то, что Кудеславов отъезд для Белокопя действительно окажется внезапным и тайным. Но даже если и так, утром-то хранильник непременно заметит отсутствие Кудеслава, а тому еще возвращаться...

Снаружи оказалось неожиданно холодно и влажно. Небо было вроде бы ясным, звездным, но в воздухе висел легкий туман – не туман даже, а прозрачная дымка, мельчайшая водяная пыль. Перемешанная с холодным сиянием звезд она занавешивала все вокруг смутным налетом седины, безнадежной и вялой грусти.

Вышагнув из прогретого жарким конским дыханьем сарая, Кудеслав почувствовал, как дубеют от сырости кожаные штанины и голенища сапог; как промозглый ветерок сочится сквозь истертый косулий тулуп и толстую сыромятину рубахи, пробирая мелкой противной дрожью не успевшее отвыкнуть от теплого ложа тело. А лишь несколько мгновений назад подумалось, что без доспеха не стоило и поддоспешный тулуп надевать: ночью, де, об этой поре можно перебиться и без него, а днем непременно взопреешь. Перебиться... Небось, околел бы, перебиваючись...

А вот ильменка вовсе поленилась обременяться одеждой, и теперь дробно цокотала зубами да изо всех сил прижималась к лошадиному боку.

– Иди грейся – застудишься! – сирым шепотом вымолвил Мечник, принимая повод из ее плотно стиснутого трясущегося кулачка.

Вместо ответа Векша отчаянно замотала головой, и ее короткие рыжие волосы на миг показались Кудеславу темным пламенем, мечущимся под неистовым ветром.

Ильменка перехватила Мечников взгляд, шмыгнула носом:

– Медленно... – она испуганно оглянулась на плотно затворенные ставнями избытые окна и сбавила голос до еле слышного бормотания. – Медленно растут. Знаешь, как без нее плохо? Будто вовсе без головы...

"Без нее" – это, стало быть, без косы. Векшины волосы, обрезанные волхвом ради попытки преобразить свою купленницу в парнишку, действительно успели отрасти лишь на малую чуть – всего-навсего до половины шеи. Так ведь и времени минуло не много... Кстати сказать, Мечнику не очень-то хотелось, чтобы они отрасли. Ему и так нравилось.

Понимая, что самый простой способ угнать ильменку с холода – это поскорее уехать, Кудеслав нащупал ногою стремя и вскинулся в седло. Кобыла недовольно прянула, но он разумил ее, стиснув бока коленями, и собрался было трогаться, как вдруг Векша опять вцепилась в уздечку.

Вцепилась и прошептала, снизу вверх заглядывая в Мечниковы глаза:

– Ты почему бездоспешным едешь?

– А на кой мне доспех-то? – очень правдоподобно изумился Кудеслав.

Ильменка попыталась что-то сказать – не вышло. Видать, вконец пронял ее холод, и вместо шепота получилась совершеннейшая невнятица, мешанина из заиканий да перестука зубов. Снова пришлось Векше притиснуться грудью к горячей кобылей шерсти.

Через миг-другой Мечник, перегнувшись с седла и почти касаясь ухом бледных, дрожащих ильменкиных губ, сумел, наконец, разобрать:

– Плохая... Плохая ночь. Чувствую что-то. Не пойму что, только плохое оно. Надень доспех, а?

– Нет уж! – Кудеслав легонько дернул Векшу за взъерошенные волосы. – И так мы с тобою лишь дивом еще никого не разбудили. А тут в сарай, да из сарая, да снова в седло, да железом греметь... Ничего, воин не доспехом силен. Ты лучше себя обереги.

– Оно не для меня... – выговорила ильменка, с досадой отстраняясь от Мечниковых пальцев, рассеянно балующихся ее вихрами. – Ну, это... Которое невесть что... Оно для тебя. Не ездить бы тебе, переждать...

– Пустое, – хрипло перебил ее Кудеслав.

Перебил и сам запнулся. Потому, что понял: Векшу ему не успокоить, ибо для этого бы нужно сперва успокоить себя.

Он тоже чувствовал небывалое. Он, Мечник; воин, навидавшийся всяческих видов; сын могучего кудесника, наделенный толикой отцовской ведовской силы; выученик – хоть и не шибко удалый – своего стрья, отцова брата, охотника, к которому чаша-матушка и впрямь по-матерински доверительна да благосклонна... Так вот он, Кудеслав Мечник, будучи всем перечисленным, оробел перед ночным лесом.

Оробел нешуточно, до озноба.

Как дитя малое.

Может, и впрямь следовало переждать; возможно, он дал бы себе эту потачку (хоть только лишь боги ведали, не повторится ли такое следующей ночью и теми ночами, которые настанут потом). Однако Мечнику подумалось: стыдный, никогда прежде не изведанный страх может быть насланием Белоконя – именно чтоб задержать. Эта мысль, да еще вполне справедливая уверенность, будто откладывание поездки помешает сохранить ее (поездку то есть) в тайне, все и решили.

И Векша тоже поняла, что он уже все решил и что его не остановить, а потому разом оборвала невнятные уговоры ("день всего пережди... пожертвовал бы Роду, и Наввим, и Лесному Деду... а я бы пока оберег – вместо того, который ты Велимиру...").

Умолкнув на полуслове, она чуть отступила, съезжилась, обхватила руками голые плечи. И Мечник толкнул лошадиное брюхо задниками мягких сапог.

Перед тем, как принудить кобылу к прыжку через ограду, Кудеслав обернулся. Векша и не подумала уйти в тепло – стояла, где стояла, все так же ежась и тиская ладонями плечи. Расстояние до нее было уже изрядным, и все же Мечник, не задумываясь, поклялся бы чем угодно: ильменка что-то шепчет ему вослед.

"Что-то"...

Наверняка это "что-то" было охранительным наговором.

И хоть проку Векшино шептание сулило малую чуть (какой уж тут прок, ежели неведомо, от чего охоронять?!), Кудеславу сделалось легче.

* * *

Туман сгушался. Длинные, пахнущие пронзительной сыростью космы теряли прозрачность, тяжелели, оседали к обесцвеченной звездным светом траве.

Свет...

Казалось, его рождают не звезды, а именно эти рои несметных водяных капель, похожие на зацепившиеся за подножья деревьев седые пряди – будто бы ужасающего роста великан вздумал мести лес бороною, да всю ее изодрал-повыдергал о сучья, пни да валежины.

Лес впрямь был словно выметен. Верней сказать так: лес был словно бы неживым.

Лес молчал.

Не то что зверье да ночные птицы – даже комары куда-то пропали; даже ветер, не на шутку разгулявшийся было с вечера, затих, и деревья стыли в пугающей каменной неподвижности. Ни шороха, ни единого шевеленья листы, обернувшейся холодным чищенным сереб-

ром. Лишь плавное оседание густеющих поволок, сотканных из влаги, седин да хворостного озноба; лишь топот копыт Мечниковой лошади – вот и все.

Все...

Да, именно так: все было в ту ночь необычным, а потому пугающим. Однако больше, чем свет, как бы не имеющий отношения к ясной звездности неба; чем холодная влага, которая решила подменить собою воздух; чем даже беззвучная оцепенелость леса – больше, чем что бы то ни было пугал Кудеслава он сам.

Наверное, до сих пор сказывался жестокий ушиб, доставшийся ему во время схватки-расправы с поплечниками Яромира. Наверняка сказывались тягостные переживания последних дней. Да еще вдобавок промозглая мокреть и самая обычная сонливость...

Только Мечнику не верилось, будто всего этого достаточно для объяснения навалившейся на него вялой одури.

Всякое выпадало в прежние времена: ушибы куда тяжелее того, недавнего; бессонье куда длиннее нынешнего; а опасности, верно, все-таки меньшие, потому что бывали они предсказуемыми, понятными. Но никогда раньше ему бы и в голову не пришло, что в предчувствии смертной угрозы он может вот так безвольно болтаться на лошадиной спине – словно травяное опудало.

И умная хранильникова кобыла, которую бы должен был насторожить, встревожить беззвучный вымерший лес, шла размеренной неторопливой рысью – будто ее тоже одолевала сонливость. А Мечнику не доставало сил даже заставить лошадь шевелиться проворнее...

Ведовство.

Мутное, злое.

Не удалось, значит, незамеченным убраться с волховского подворья.

На что же надеяться? На Векшины заклинанья? На собственную воинскую сноровку, которая может все-таки пробудиться в последний, самый опасный миг? Не шибко крепки такие надежды...

Муторная вялость накатывала на Мечника размеренными леденящими волнами. Временами казалось, будто проклятое наваждение вот-вот схлынет, выпустит и больше уже не вернется. Но все повторялось. Омерзительная дрожь подменяла упругую крепость мышц на ничемную дряблость; зрение, слух, осязание продолжали цепко ловить творящееся вокруг, только добыча чувств волновала разум не сильнее, чем запрошлогодние желуди.

Разум грезил наяву. Дивным образом не мешая видеть выстеленный туманом ночной лес вокруг, перед Кудеславовым взором нет-нет, да и наливались пронзительной явью необъятная равнина, поросшая бурой свалывшейся травой; низкий сплошной полог серых туч над головою... Та самая бескрайняя щель меж плоской осенней степью и плоским ненастным небом, виденная уже Мечником через миг после того, как ошеломило его бревно вражьей ловушки-давилки; и вновь, как тогда, он вдруг ощущал, будто идет по этой щели вслед неторопливо ускользящему горизонту... Ощущал явственно, правдиво, и в то же время ни на миг не переставал чувствовать под собою спину рысющей лошади.

Наваждение.

Ведовство.

Наслание.

И все-таки тот, кто напустил на Кудеслава эту жуткую марь, прежде, верно, никогда не имел дела с воинами. Старая добрая наука: не думать о нависшей угрозе, чтобы настороженные чувства не обманывались выходками распалившегося воображения. Но заставить себя не думать об опасности можно лишь когда знаешь, что именно тебе грозит. А когда угроза неведома...

Наверняка желая чего-то вовсе другого, неизвестный наслатель помог Кудеславу в том, к чему вряд ли смог бы присиловать себя даже умелейший воин: не думать ни о чем вовсе.

Именно благодаря этому Мечник все-таки успел заметить плавно выдвинувшуюся ему навстречу из-за древесного ствола серую тень...

Нет, не тень.

То был закутанный в просторное одеяние человек... совсем почти человек, вот только лицо его, плохо видимое под низко нахлобученным островерхим колпаком, показалось беглому взгляду каким-то неправильным, ненастоящим, нелюдским. И одеяние... Это лишь сумрак да лживый свет звезд делали его серым; в действительности же Мечник готов был клясться: оно грязно-бурое, как ржавое железо или сохлая кровь.

Однако времени на всматривание да уяснение не оказалось. Ржавая тень еле уловимо для глаз качнулась; очертания ее стремительно изменились, будто бы невидимая рука раздвинула свободно ниспадающий плащ, и...

И Кудеслав для самого себя неожиданно очнулся. Рывком повода он заставил лошадь дернуться в сторону, и тут же что-то с коротким вскриком рвануло воздух у левой Мечниковой скулы.

Из оружия при Кудеславе были только нож да топор (брать оружие у волхва не хотелось, а собственные Мечниковы лук да рогатина как пропали у мыса-когтя вместе с челном, так больше и не нашлись).

Кудеслав не успел понять, каким образом ножевая рукоять оказалась в его ладони и почему она – ладонь, а не рукоять – будто забыла о существовании топора. Только уж это не имело ни малейшего отношения к ведовству – разве что если счесть ведовством недюжинное воинское уменье. Ржавый вновь шевельнулся, и, опережая его следующее движение, из Мечниковой руки ударила серебристая молния звездного света, отраженного отточенным лезвием.

В следующее мгновение Кудесава хлестнул по лицу свирепый порыв мокрого промозглого ветра. Невольно заслонившись ладонью, Мечник ценой огромных усилий сумел-таки избежать падения со вскинувшейся на дыбы лошади. Когда же он вновь обрел возможность видеть творящееся вокруг, человеческой фигуры перед ним не оказалось. На ее месте горбился, готовясь к прыжку, огромный волк – того же труднораспознаваемого в сумерках цвета, но с обильной изморозной проседью в кудлатом меху.

Волк глухо взрыкнул; и злобно, пронзительно заржала в ответ кобыла, не привычная к опасности перед зверьем благодаря хранильничкову уменью жить в мире с дебряю-матушкой.

И в родной земле, и в урманской хаживал Кудеслав с голыми руками на волков, среди которых случались почти такие же громадные, как этот вот, нынешний – хаживал, и осталась ему в память о подобных молодецких забавах лишь пара-другая малоприметных шрамов. Но те волки были ОБЫЧНЫМИ. А этот...

Похожей, очень похожей на волка гляделась рычащая тварь, которая припала к земле перед Мечником Кудеславом – щеря клыки, полыхая багряным пламенем глаз.

Похожей...

Именно, что только похожей.

И главная причина этой похожести крылась вовсе не в том, как внезапно объявилась зверообразная тварь на месте неведомого напастьника-человека. Глаза... Да, волчьи глаза во тьме всегда светятся – чаще зеленым, изредка красным. А только у ЭТОГО глаза не светились – они будто бы втягивали и гноили в себе свет. "Полно, глаза ли это?!" – обмирая, подумал Мечник.

Такого страха Кудеслав не испытывал еще никогда. Однако в Мечнике тоже проявилось то самое качество, которое в Векше и восхищало, и раздражало его: от страха бросаться не прочь, а вперед.

Яростный рывок повода заставил лошадь снова вскинуться на дыбы, и так вот, на задних ногах, со свирепым визгом молота воздух копытами передних, скакнуть навстречу бешеному оскалу волкоподобного чудища.

И чудище сгнуло. В единый миг – было и нету. А может, и впрямь не было его вовсе? Может, тоже наслание – одна только видимость?

С трудом успокоив не на шутку взъярившуюся лошадь, Мечник огляделся.

Лес стал обычным ночным лесом. Влажный порывистый ветер шумел листвой и в клочья драл седые пряди тумана; где-то дурным голосом вопил мелкий сыч-мышеед...

А из древесного ствола, близ которого давеча виделись то человек, то волкоподобная жуть, торчал брошенный Кудеславом нож.

Было?

Не было?

Наслание?

Явь?

Подъехав к дереву, Мечник выдернул свое оружие (лезвие глубоко впилося в кору на уровне груди высокого человека). А вот спрыгнуть с седла да осмотреть следы Кудеслав не решился. Он не решился даже толком задуматься: а что, собственно, показалось бы ему страшнее – найти какие-нибудь следы, или не найти?

Впрочем, один след все-таки отыскался, только не на земле. Левая мечникова скула, возле которой мелькнуло невесть куда улетевшее оружие ржавого человека, словно бы закочнела. Тронув ее и поднеся затем руку к глазам, Кудеслав увидел на кончиках пальцев темные пятна.

* * *

До градской поляны Мечник добрался именно тогда, когда и рассчитывал. Хорсов лик пока даже краешка своего не явил над вершинами заречного леса, однако было уже не по-предутреннему светло.

В разгар весны отпала нужда высылать к опушке охоронные ночные дозоры: хищное зверье порастеряло рожденную зимним пустобрюшием наглость, а опасность от ворожих людей сейчас не грозила племени. А хоть бы и грозила – нынче некому было толково распорядиться общинной сторожей. Обезголовила община с яромировой гибелью. Вернее, многоглавила, а это еще хуже, чем вовсе без головы.

Не боясь быть замеченным, Кудеслав довольно долго медлил выезжать на открытое место – ждал, пока мужики, охоронявшие ночью градский тын, отвалят непосильную для дневных дозорных-недоростков створку лесных ворот да разбредутся по избам. Конечно, эти самые мужики при желании мигом углядели бы всадника, торчащего среди прозрачного редколесья; но именно желания озираться окрест у мужиков не было напрочь. Единственно, чего им хотелось – это как можно скорее управиться с громоздкой воротинной, добрести до полатей да завалиться спать. Хотя вряд ли минувшая ночь была для охоронников такой уж бессонной.

Дальше все получалось так, как Кудеслав и надеялся.

Не спеша въехал в проем лесных ворот; рассеянным взглядом чиркнул по светлым новым брусам, втачаным в створку взамен прорубленных мордвой; так же рассеянно, еле заметным кивком ответил на торопливые здравствования двоих мальцов, мостящихся додремать на тыновом настиле; с той же нарочитой неспешностью поехал улицей... Дорогой почти никто Мечнику не повстречался – только раз ему пришлось свернуть в узкий глухой заулок, пропуская случившийся навстречу гурт поджарых длиннозубых свиней, и еще три гурта поменьше сами успели убраться с его дороги в подворачивающиеся проходы да тупички – верней, не сами, конечно, а повинувшись окрикам да пинкам пастушков.

Из взрослых же, способных пристать с вопросами-разговорами, никого дорогой не встретилось. Взрослые об этой поре либо спят еще, либо только-только глаза продирают.

А вот Велимир отчего-то успел не только проснуться, но и заняться делом: сидя на зава- линке под стеною избы длинным ножом обстругивал липовый чурбачок – будущую ложку.

Остановив лошадь перед плетнем, отгородившим Лисовинов двор от градской улицы, Кудеслав некоторое время молча рассматривал названного родителя. Тот, кстати сказать, при- езжего не замечал – упорно и чрезвычайно правдоподобно. Только кого-кого, а уж Мечника это правдоподобие никак не могло обмануть.

Лисовин, в такую рань услышав копытный перестук близ своего плетня, даже головы не приподнял от работы? Вроде не настолько сложно его занятие, чтоб корпеть неотрывно... И, кстати, не таково оно, занятие это, чтобы ради него просыпаться чуть свет... Да еще обря- жаться, будто... будто бы...

Чистая беленая рубаха с красной затейливой вышивкой по вороту, груди да запястьям; холщовые, крашенные в зеленое штаны (елки нечесанные, да Мечник этих штанов на Велимире и не видывал прежде!); малоношенные сапоги – сафьяновые, недешевой степнячьей работы... Это Лисовин, который и зимою-то частенько выходил во двор босиком, жалеючи не то что сапоги, а и лапти лишний раз потоптать! А тут... И умыт он уже – рудые усы да борода влажны, гладко расчесаны; редующие надо лбом седоватые волосы перехвачены плетеным шнурком...

Будто к смерти уготовился.

Или не к смерти – к проводам?

Но разве же мог он знать наперед?..

– Ну, и долго ли ты еще будешь там торчать, ровно вошь на плечи? – Велимир так и не оторвал взгляд от своего строгания, однако же вряд ли можно было бы засомневаться, для чьих ушей предназначены эти не шибко ласковые слова. – Или ты к лошадиной спине приклеился? Или решил прикинуться полканом? Ежели так, то зря: полкан – он о четырех копытных ногах, о двух руках и всего об одной голове. А у тебя голов аж три получается: кобыля, да та, что у тебя на плечах, да еще та, какую ты в седло упираешься – похоже, наиразумнейшая из всех... Ну, чего клякнешь? Слезай, коль приехал. Или я сам должен тебе въезд во двор отворять?!

Это, стало быть, вместо здравствования. Что ж, стерпим.

Кудеслав спрыгнул наземь. Пока он отваливал загромождающую вход тесовину, пока заводил во двор да привязывал у плетня кобылу, Лисовин продолжал орудовать коротким широким ножиком, обильно посыпая стружками штаны да голенища сапог. Но стоило только Мечнику покончить со своими хлопотами, как Велимир негромко сказал:

– Подойди.

Кудеслав подошел. Только тогда Лисовин отложил, наконец, работу, сел прямее и неве- село прищурился в Мечниково лицо:

– Ну, что скажешь?

Мечник глаз не отвел:

– Я прощаться приехал. С тобой, с очагом родительским. Я...

– Знаю, – Велимир тяжело прихлопнул ладонями по коленям. – Белоконь упредил, когда заявишься и для чего.

Кудеслав круто изломил брови. Что вопреки всем его Кудеславовым ухищрениям хра- нильник сумел-таки дознаться об этой поездке (да еще загодя, даже предупредить Велимира успел) – то не казалось очень уж удивительным. Волхв да ведун – он много может такого, которое обычные люди вовсе не способны постигнуть. Но как же тогда объяснить ночное напа- дение? Может, старый хранильник заранее уведомил Велимира о приезде названного сынка лишь ради того, чтоб потом сказать: "Я, де, раз упредил, то значит обо всяких нехороших делах в ночном лесу и помыслить не мог, и значит вовсе никакого к ним касательства не имею," – так? Или он действительно не имеет касательства к этим самым ночным делам? А тогда кто имеет? За случившимся без сомненья кроется чье-то могучее ведовство, а кроме Белоконя на подобное способен разве один только Зван, голова ковательской слободы. Но ему-то зачем?!

Конечно же Лисовин не мог подслушать Мечниковы мысли. Он лишь видел, что решившийся наконец оторваться от родного корня и родимого очага названный сын мнется да помалкивает, а это похоже на робость, которая, как известно, родная сестра виноватости.

– Так что, урманская твоя душа, сбегаешь-таки? Сам, выходит, заварил кашницу, а хлебать вариво-то...

Кудеслав набрал уже было воздуха в грудь, но в последний миг все-таки прикусил язык (убоялся сказать что-либо столь же несправедливое и злое).

Впрочем, Лисовин сам не верил своим упрекам. Оборвав запальчивую речь едва ль не на полуслове, он встал, отворотился от Мечника, шагнул прочь. А уже открывая избяную дверь, буркнул вдруг, по-прежнему не оборачиваясь:

– Ступай следом!

Велимировы только начинали просыпаться. С бабьей половины доносилась слезливая детская перебранка; полог, отделяющий угол женатого сына, колыхался от какой-то скрытой возни; а близ большого семейного очага стучали горшками да плошками две жены Лисовина. Заспанные, нечесанные еще; старшая – во влажной от пота рубахе, а молодшая (та, что годами даже до невестки своей не доросла) вовсе без единого клочка одежи на теле. Оно и понятно: стряпня – занятие потливое да пачкотное, а собственная кожа куда долговечней холстины.

Меньшая Лисовиниха оглянулась на шум в сенях, но, распознав вошедших, опять спокойно склонилась над закипающим варевом. Муж – он и есть муж; а Кудеслав ему (мужу то есть) хоть и названный, но сын – свой значит, и стесняться его нечего.

Проходя мимо очага Лисовин кышнул баб, и те убрались, с видимой неохотой покинув брызжущие паром горшки. А Велимир направился напрямик к Мечникову углу, отдернул запону и мотнул бородой, указывая на выстеленное волчьими шкурами ложе. Кудеслав глянул поверх плеча своего названного родителя и остолбенел.

На свалывшемся волчьем меху лежал меч. Тот самый меч, сработанный в дальней скандийской земле, из-за которого родовичи и прозвали Кудеслава Мечником. Тот самый меч, который бесчисленное количество раз спасал жизнь своему владельцу; который для владельца своего значил несоизмеримо больше, чем просто ценное редкостное оружие. Меч, который Кудеслав несколько дней назад по Векшиной вине не сберег, потерял, утопил на речной быстрине – а вместе с ним потерял и изрядную часть души.

И вот...

Друг... нет, больше, чем друг гибнет у тебя на глазах. И вот ты возвращаешься в почти покинутое тобою жилище, а там – он. Живой, целехонький, улыбающийся тебе радостно да тепло...

– Откуда?.. – только и сумел прохрипеть ошалелый Кудеслав.

– Оттуда! – Велимир скривился, неловко присел на ложе.

Кудеслав медленно шагнул – только не вперед, к мечу, а в сторону. Привалился к стене, засунул ладони за спину – будто опасался с их стороны какого-нибудь своеволия. Лишь после этого спросил – внятно, раздельно, без следа прежнего волнения в голосе:

– Это что ли ты сам его выдостал? Или кто из твоих?

Лисовин скривился пуще прежнего и заскреб ногтями подбородок, лохматя тщательно расчесанную умытую бороду.

– Надо оно тебе? – вздохнул он наконец. – Выдостали – и ладно. Ты, вместо чтоб доискиваться кто да как, лучше бы поблагодарствовал человеку за радение о твоей беде!

– Кому ж благодарствовать-то, ежели ты человека этого назвать не хочешь? – невесело усмехнулся Мечник.

Он уже догадывался, что за доброхот такой решил облагодетельствовать его возвратом оружия. И почему никак не удастся принудить себя не то что коснуться, а даже подойти ближе ко вновь обретенной частице своей души – об этом он тоже начал догадываться.

– Да не хотел он... – промямлил в конце концов названный Кудеславов родитель, продолжая измываться над своей бородой. – Не хотел, чтоб ты знал... Сказал: "подумает... это ты, значит, подумаешь... будто я перед ним хвостом метеляю". Знать бы тебе, как вы оба мне надоели! То он норов тешил, теперь ты кобенишься... А я меж вами гляжусь дурень дурнем! У вас, вишь, норов, а я изворачивайся да брешу...

– Ну, я-то не стану просить тебя о вранье, – выговорил Мечник все с той же усталой улыбкой.

– Еще бы и ты!.. – вскинулся Велимир.

– Будь милостив, – Кудеслав пропустил Лисовиново возмущение мимо ушей, – будь милостив, оставь меч у себя. По нынешним здешним делам глядишь, и пригодится... А ежели духи-охранители все-таки не позволят случиться этакой надобности, то выторгуй за него побольше. Ты ведь знаешь: цену ему и нынче-то сложить трудно, а в наших краях ей – цене то есть – расти да расти.

– Ах все-таки в НАШИХ краях? – негромко спросил Лисовин.

И снова Мечник будто бы не расслышал слов названного родителя:

– Белоконю же, коль сочтешь надобным что-либо объяснить, скажи (только не прежде моего отъезда): Кудеслав-де каверзу твою распознал с единого взгляда и даже пальцем к мечу не притронулся. Понял?

– Пускай меня Черный Перун сей же миг молоньями пришибет, ежели я хоть что-то сумел понять! – мрачно сказал Велимир.

Кудеслав и сам не шибко-то многое понимал. К примеру, ему так и не удалось понять, что именно он почувствовал, глянув на меч. Он почувствовал НЕЧТО, и этого хватило. Возможно, Мечник унаследовал дар отца-облакопрогонителя не в достаточной мере, чтобы самому творить ведовство, однако же распознавать чужие заклятия, да еще столь могучие – в этом своем умении Кудеслав был твердо уверен. И еще он знал: через вещь можно подвести ее хозяина под порчу. А можно и под чужую волю. И чем вещь для хозяина любимее да желанней, тем крепче выйдет насланное через нее.

Хотя во второй раз терять оружие, без которого осознаешь себя не вполне собою, оказалось еще тяжелей, чем впервые. Вот ведь навалилось: меч, Белоконь, названный родитель, которого только-только научился ценить и уважать по его истинному достоинству... И все за несколько дней. Одна Векша отныне осталась у Кудеслава, которого больше нет причины звать Мечником.

Видать было, что и Велимиру муторно. Может, вдруг пришла на память ему давняя-давняя собственная досада, укусившая сердце при виде входящего в избу братова сына, который все-таки решил воротиться из странствий по дальним чужим краям. Подумалось тогда: снова теперь будет путаться под ногами этот... не свой, не чужой... ни Навьим жертва, ни лешему метла... А он, воротившийся-то, какие подарки привез!.. С теми, тогдашними, только и может сравниться ценою нынешний его же подарок – меч. И снова Кудеслава щедрость – ответ на Велимирову несправедную досаду...

– Ты где рожу подрал? – от чувства неловкости вопрос получился куда грубее, чем хотелось бы Лисовину. – Не знай я, что волки об этой поре перед человеком робеют, решил бы, будто по твоей левой скуле именно волчья лапа прошлась.

Мечник, вздрогнув, непроизвольно прикрыл ладонью подсыхающие царапины.

– Ладно, мне, наверное, ехать пора, – глухо выговорил он. – Я только пожитки кой-какие свои соберу, а?

Лисовин встал и вышел, плотно задернув за собой полог. Уже оттуда, из-за полога, сказал:

– В сенях лук и два десятка стрел приготовлены – возмешь.

Долго возиться Кудеслав не стал. Избегая коснуться меча, он сдвинул ложе, ножом расковырял утоптаный земляной пол и достал из открывшейся похоронки увесистую цепь, солнечно взблеснувшую в тусклом свете крохотного, уже растворенного на день оконца.

Чуть подумав, Мечник с тяжким вздохом обернул концы цепи вокруг кулаков, поднатужился, и та с неожиданной для довольно-таки толстых (однако же просто гнутых, непаянных) звеньев-колец расселась на два неравных обрывка. Меньший из них Кудеслав положил рядом с дареным Лисовину оружием, другой спрятал за пазуху.

Больше он ничего не взял – только горсть пепла из родительского очага всыпал в заранее надетую на шею лядунку, да еще прихватил в сенях оставленный Велимиром лук с тяжелыми зверобойными стрелами.

Когда Мечник, сотворив прощальную жертву духу отца, прочим Навым да Вострухе-домовику, выбрался во двор, Лисовин подтягивал у хранильниковой кобылы подпругу. Услышав за спиной шаги Кудеслава, он отпихнул лошадь и двинулся навстречу названному сыну, еще издали протягивая на раскрытой ладони привядшее (видать, с вечера запасенное) желтое соцветье купавницы – по поверью этот водолюбивый цветок оберегает подорожних и странствующих.

Пока Кудеслав торопливо упрятывал теряющее лепестки соцветие все в ту же лядунку, Велимир негромко сказал:

– Надумаешь воротиться – знай: хворого, немощного, увечного – любого приму.

Торопясь скрыть наворачивающиеся слезы, Мечник поклонился своему стрюю и названному отцу. Глубоко поклонился. В землю.

И выпрямился, лишь когда услышал трескучий удар захлопнувшейся избяной двери.

* * *

Кони были хороши. Стáтью они, конечно, не вышли, однако же для дальней дороги главное вовсе не стать. Хранильников Белян, к примеру, из красавцев красавец, однако выносливостью в лучшем случае лишь равен бы оказался этим невзрачным мохнатым коротконожкам.

Кудеслав сторговал их за половину оставшегося у него обрывка цепи, заехав на подворье изверга-самочинца Ждана Старого. Торг вышел довольно долгим, но Мечник, как ни хотелось ему скорей воротиться к Векше, все-таки не жалел о потерянном времени. И не только из-за удачного приобретения. Очень уж интересно было наблюдать тяжкие душевные муки, ясней ясного отражавшиеся на Ждановом конопатом лице.

В первый миг, едва дав себе труд выслушать предложение Кудеслава, Ждан отчаянно замотал головой.

По весне оторвать от хозяйства аж двух коней?! А в соху да телегу самому что ли впрягаться? Опять же в здешних краях плохо ведома цена золоту – еще продешевишь... Да и Мечников отъезд ни самому Ждану, ни другим извергам не сулит никакого проку. Конечно, учинять Кудеславу помехи никто не станет, но и помогать дураков нет...

Очень многословно да обстоятельно растолковывал изверг причины своего отказа, но глаза... Глаза, так и прикипевшие несытым взором к желтым колечкам, заманчиво взблескивающим в небрежных Кудеславовых пальцах... Да, вышедшие из хозяйской воли глаза Ждана явно противоречили его языку.

Золото...

Все знают, что невеликая его толика хранится в граде, среди общинных запасов; еще вроде у Звана Огнелюба, кователя-кузнеца, есть оно; да еще, сказывают, Велимира названный сын по давнем своем возвращении одарил златым обручем. А больше в здешних местах златовладельцев нет (ну вот разве что сам Кудеслав, так он же в чужедальние края подается). И ведь не безделку малую сулит клятый Урман-соблазнитель! Вот ежели бы эти самые колечки

на ремешок, да на грудь (только чтоб непременно поверх рубахи!), да этак заявиться в гости к Чернобаю... У того, небось, от зависти все нутро прокиснет. И поделом – будет знать, как без меры кичиться достатком! "Я твоего зажиточней вдвое и еще вдвое"... Прямо тебе тот прыщ, что на самом кончике носа: я, мол, первое первых! Погоди, дай срок – первой тебя същутся!

Так вот и вышло, что на Белоконов двор Мечник воротился, ведя в поводу двух коней.

Кони эти оказались едва ли не единственной радостью, выпавшей Кудеславу за предотъездные дни.

Кони и сам отъезд.

То, что ожидалось как мучительное отрывание себя от себя же, на деле сладилось удивительно легко да быстро. Наверное, Мечник заранее слишком уж вымучивал душу этим, грядущим – вот и перегорела тяжесть-то, истратилась до поры.

И слава богам.

Хотя... Не надо было уродиться сыном ведуна, чтобы предугадать: муторная тяжесть еще вернется, еще изложет, высосет, высушит гнетущими думами. А прав ли ты, Кудеслав, когда-то звавшийся Мечником? Так ли уж тебе не по силам если не предотвратить, то хотя бы ослабить надвигающиеся на сородичей беды? Не воротиться ли? Но кому станет на пользу твое возвращение? Родовичам? Тебе? Велимиру, Белоконю, Векше? Ведь не бывает такого, чтобы одно и то же деяние оказалось на пользу таким разным людям... А тогда как решить, чья польза первой других?

Нет, для подобных размышлений пора еще не пришла. Почему-то даже к самым умным настоящие правильные сомнения никогда не приходят ни "до", ни "во время". Они приходят после, когда успело свершиться то, что прежде казалось верным. И единственный толк от подобных прозрений – предостерегать других, поскольку предостерегать себя уже поздно. Потому-то, наверное, молодым и бывает так трудно понять и принять наставления стариков. Молодые – они ведь еще "до" и "во время". Они просто не могут осознать, какой смысл припрятало в себе слово "после". Они, молодые-то, вообще не могут осознавать, что бывает на свете такое, которого они осознать не могут.

Ну что ж, "после" – оно и настанет после.

А пока всё складывалось удачно.

Даже Белоконь вдруг решил облагодетельствовать (да, именно так – иного слова и не подберешь). Ведь понимал же старый хранильник, что Кудеслава уже ничто не держит в здешних краях, что наверняка уедут они с Векшей ранним будущим утром! Да, волхв без сомнения понял это, однако же вскоре после Мечникова возвращения из града старик куда-то заваялся, да так, что и родня его только плечами пожимала в ответ на распросы. То ли в святилище ушел, то ли в лес за ведовскими травами, то ли еще куда – в общем, боги его ведают.

Так и отпустил он их – друга, который перестал считать его другом, и не то подлинную, не то притворную свою запоздалую любовь. Отпустил, даже мельком не поглядев им на глаза.

И низкий ему поклон за эту последнюю доброту.

...Ночью прошел дождь – по-летнему неторопливый и теплый, а потом наступило чистое веселое утро. Мокрые травы дышали невесомым туманом; ветер шумно плескался в умытой листве, обильно роняя не то водяные капли, не то брызги златого Хорсова света; а в прорехах волнующегося зеленого укрывала чащи-матушки мелькала бездонная и безмятежная синева, не замаранная уже ни единым облаком.

Кони шли споро, весело шли. А разве им было о чем грустить? Они ведь не знали, каким дальним и трудным окажется едва успевший начаться путь. Пока же торная тропа (это, правда, одно название: непривычному глазу трудно распознать и что торная, и что вообще тропа) тянулась светлым высокоствольным лесом, не шибко богатым на кустарники да валежную крепь; в тугих конских жилах переливалась горячая ненадорванная сила; поклажей новые

хозяева мало обременили – водрузили они на спины коней только себя самих да еще кой-какие немудреные (это чтоб не сказать "скудные") пожитки.

Векша ехала, обряженная парнишкой. Так показалось спокойней. Путь далекий, люди будут встречаться разные... Одни только кони способны соблазнить чье-нибудь несытое око, так нечего это самое око дразнить еще и видом пригожей, вовсе молодой бабы. Умный человек в дороге остерегается выпячивать напоказ свое достояние.

Впрочем, этому разумному соображению вопреки, кудеславово боевое одеяние отправилось в путь надетым на хозяина, а не во вьюке позади седла. И вскоре Мечнику выпал случай похвалить себя за такую предусмотрительность.

Спокойствие леса не то чтобы подубаюкало Кудеслава, однако же настороженность его слегка притупило. Да еще Векша вдруг ни с того, ни с сего принялась безостановочно полоскать языком. То все родными своими краями хвасталась; потом вдруг без малейшего перехода затеяла рассказывать, какой, говорят, стройной да тоненькой была молодшая Белоконева сноха Милонегга до первых родов. А теперь? Днями вон Белокониха Старая принялась уговаривать мужа да сыновей по примеру извергов завести дойных коров. А Гудой-де и говорит в ответ: "Дак у нас уж есть одна дойная да отельная!" И как хлопнет свою жену, Милонеггу значит. Хлопнул-то ниже спины, а заколыхалось от пят до самой макушки.

"А она, вместо чтоб обидеться... Да нет же, "она" – это Милонегга, а не макушка. Макушки разве обижаются умеют?! Так она, говорю, вместо чтоб обидеться, еще и смеется! Видишь, что получается? Сперва носи его в себе невесть сколько, а это тяжело да тошно; потом рожай – знаешь, как больно?! А после родов получится то же, что и с Милонеггой: была раскрасавицей, а сделалась... Впрямь корова коровой. Еще даже и радуется этому, дуреха несчастная..."

Рассказывая, Векша нет-нет, да и пошмыгивала носом: видать было, что очень ей жалко неудалую Милонеггу. Конечно, Милонеггу. Не себя же – ей-то ужасы вынашивания да родов угрожать не могут...

Она не раз затевала уже подобные разговоры, то баюкая свою ущербность, будто обезручевший – мозжашую культу, то отчаянно пытаясь выискать в этой самой ущербности хоть что-то хорошее... И всякий раз Мечнику только вздыхать да маяться оставалось. Ведь как ни утешай – ей только больнее станет; как ни уверяй, что она для тебя милей да желанней любых неущербных – только сильнее засомневается...

Вот и теперь он только губы грыз, в пол-уха слушая Векшину вроде бы праздную болтовню... А потом вдруг прищыкнул – резко, зло, как обращался с ней лишь когда почитал парнишкой-недоростком.

И Векша сразу поняла: дело не в самой ее болтовне. Дело в том, что болтовня эта мешает ему слышать НЕЧТО.

Перехватив вопросительно-испуганный взгляд ильменки, Кудеслав чуть заметно качнул головой: тихо, мол, нишкни. Он и раньше старался держаться чуть позади Векши (чтоб на всякий случай не упускать ее из виду); теперь же вовсе остановил коня. Миг спустя ильменка сделала то же самое.

Нет, Мечник еще ничего не слышал.

Слышали кони.

Они волновались все заметнее, но Кудеславу чудилось в этом волнении что угодно, только не страх. Потом Мечнику послышался частый копытный топот позади, со стороны волховского подворья; и тут же Векшин конь заржал – весьма дружелюбно, словно бы здоровствовался.

Ему ответило такое же короткое ржание. Топот копыт слышался уже явственно – кто-то гнал через лес наметом, не щадя лошадиных ног, и, судя по нарастающему треску, не больно-то разбирая дорогу.

Кудеслав снял со спины лук и неторопливо потянул из-за опояски стрелу. Конечно, этот пока еще невидимый всадник ведет себя вовсе не как злоумысливший враг, но больно уж часто за последнее время дела, начинавшиеся открыто да честно, выворачивались вдруг леший разберет чем. Может тот, догоняющий, лишь внимание на себя отвлекает...

Шевельнув поводья, Кудеслав принудил коня податься назад и в сторону. Лишь мгновением позже сообразив, что это Мечник ее загораживает от приближающегося всадника, Векша тоже дернула было повод (как же, больно храбра – обязательно ей нужно быть не за спиной, а рядом). Краешком глаза уловив эту попытку движения, Кудеслав так рыкнул на ильменскую наузницу-чаровницу, что аж кони шарахнулись.

Но неведомый верховой, уже замелькавший в просветах меж древесных стволов, громко окликнул Мечника, и тот снова взбросил лук на плечо – узнал.

Коваadlo, ближний подручный кузнечного старосты, осадил своего мелковатого, но крепенького конька в трех-четыре шагах от Кудеслава.

– А я уж думал, не миновать мне твоей стрелы, – кузнец говорил прерывисто, задушено, будто не конскими, а своими ногами бежал через лес. – Что ж ты, не распознав кто да с чего, рыкаешь этак вот зверовито? Или... – он вдруг нахмурился, – или вам какая угроза грозит?

Мечник, улыбнувшись, покачал головой.

– Ну, здравы будьте, – переведа дух вымолвил слободской нарочитый муж. – Поздравствовались вот, через миг распрашиваемся... А только я не лишь для этого вдогонку за вами послан. Да, послан – меня Зван снарядил.

Коваadlo подъехал почти вплотную к Кудесаву и принялся торопливо возиться с тем, на что Мечник в первые мгновения не обратил внимания.

Это был длинный и по всему видать увесистый сверток из промасленной сыромятины. Держа его перед собою поперек седла, кузнец довольно долго путался со скользкими завязками – спешил очень, а спешка, как известно, богов насмешка.

Тем временем и Векша придвинулась совсем близко. Кудеслав словно бы не заметил этого осторожного, украдливового перемещения. Он прикипел взглядом к пальцам Званова наперсника, потрошащим неподдатливый сверток. Мечник понял уже, что именно спрятано там, внутри, и теперь пытался сообразить, чего ему больше хочется: ошибиться, или же нет.

– Ты уж извиняй, – Коваadlo, наконец, управился с сыромятиной и приподнял содержимое свертка на ладонях. – Не успели мы рукоять, ножны... Нынешней ночью, лишь с закалкой управились, Зван и говорит: вези. Сразу, говорит, вези, не жди света. Он – Зван-то – горазд наперед угадки угадывать. К Белоконю, говорит, не заезжай; сразу, говорит, гони на тропу – иначе, мол, опоздаешь. Так и вышло. Я-то, дурень, послушался, сунулся-таки на волхвово подворье... Чуть только свет там объявился, а бабы сказали: вы уж того... отправились, значит. Вот, догнал... А что Белоконь-то не с вами? И дома нет... Я думал, старик провожать отправился... Ну, да боги с ним. – Кователь вздохнул, еще раз оглядел лоснящийся от жира клинок (подобными взглядами голоусые недоростки-мальцы впиваются в девичью наготу). – Эх, не успели мы рукоять... А так не сомневайся – он не хуже того, твоего, урманского. Зван еще с запрошлой осени начал крицу проковывать. Да, с запрошлой. Говорю же, он часто заранее ведает, когда чего станет надобно.

Клинок впрямь был хорош (хоть Кудеслава и передернуло при упоминании о закалке – вспомнились жуткие россказни о том, что колдуны-кователи студят железо в человеческой крови). По ширине и длине гляделся он равным прежнему Кудеславову мечу, однако в незамысловатой его прямизне мерещилась какая-то очень ловкая замашистость – словно бы только обхвати ладонью рукоять... Хотя обхватывать-то было вроде как нечего – вместо рукояти из крестовины торчал лишь черенок-охвостье в полторы ладони длиною и с большой сплюснутой шишкой на конце... Так вот, казалось: возмись только за это железное подобье грибаопенька, лишь чуть шевельни оружейной рукой, и еле заметное шевеление меч превратит в злой

короткий удар. А уж если во взмах будет вложена хоть половина Кудеславовой сноровистой силы...

Неимоверного труда стоило Мечнику совладать с собственными пальцами, деревяневшими от неборимого желанья притронуться, огладить изморозно искрящийся обоострый клинок. Да, дивное оружие, мастеровитая редкостная работа ста-с-лишним-летнего ведуна. Вот только рукоять... Ну, да это не страшно; покуда можно бы хоть кожаной лентой обмотать. Но это пока, ненадолго. Небось, близ Ильмень-озера найдутся добрые резчики – такому мечу надобна резная ладная рукоять из кости либо твердого хорошего дерева. И нарядные ножны. И настоящая воинская рука, которая сможет до последней капли использовать то, на что он способен.

Вот потому-то Кудеслав и боялся поверить в свою догадку, когда Ковадло еще возился с завязками свертка.

Не мог, никак не мог Мечник оторвать причарованный взгляд от Званова подарка.

Но принять этот подарок он тоже не мог.

Даже в урманских землях, богатых добрым оружием, цена такому мечу была бы немалой. А здесь...

Остаток золотой цепи.

Оба коня.

Векша.

Лишь отдав все, Кудеслав не чувствовал бы себя обязанным. Но даже приди в Мечникову голову сумасшедшая мысль купить клинок за его истинную цену, Ковадло скорей удавится, чем эту самую цену возьмет. А не удавится сам, так Зван его удавит, дознавшись. И точно так же удавит Зван своего подручного, дознавшись, что тот не сумел уговорить Кудеслава принять подарок.

Принять...

От лучшего друга ты принял драгоценный подарок – Векшу. Принял, и предался ему – другу – душой да телом. И тот не преминул воспользоваться. И душою, и телом. Помнишь, как?

Может, Зван и не задумал дурного. Даже не "может", а "навверняка". Но стоит лишь Ковадле после этакого дара вымолвить пару жалобных слов о том, как ты надобен Звану (и не только ему) ЗДЕСЬ... Хватит ли у тебя совести принять меч и уехать? А не принять – обидеть Звана и обездолить себя – на такое у тебя духу достанет?!

Мгновенья сочились с невыносимой размеренностью, как сочится вода сквозь толстую продегтяренную холстину; Кудеслав будто окаменел в седле; на лице Ковадла, замершего с мечом в вытянутых пред собою руках, медленно проступала растерянность...

Лишь богам известно, чем бы все это закончилось, если бы не Векша. Миг-другой она недоуменно глядела на Мечника; потом подтолкнула его локтем – чего, мол, заляк-то? А потом...

А потом она спокойно и деловито сняла с Ковадловых ладоней меч. Еще и сыромятину прихватила – небось, пригодится.

И сказала:

– Благодарствуем. Низкий поклон тебе. И Звану гляди ж, передай: Кудеслав Мечник де в ноги кланялся за богатый подарок. Передашь?

– Да уж непременно, – Ковадло улыбнулся с видимым облегчением. – Только по недавним делам еще вопрос, кто кому должен в ноги-то... Ну, уж извиняй, недосуг мне: Зван новую работу работает, а я ж подручный ему... Легкого вам пути да удачной удачи. И не поминай лихом, слышь, Мечник? Не стоит оно, кощеватое да одноглазое, чтобы им поминать!

Резко рванув узду он поворотил коня и погнал его прочь медленным неуклюжим скоком – на большее умученной скотине явно не хватило бы сил.

Через несколько мгновений удаляющийся всадник затерялся среди деревьев – лишь копытный топот еще было слышать.

Потом и топот стих в отдалении.

Только тогда Мечник, словно очнувшись наконец, обернулся к Векше.

– Что ж ты натворила? – в голосе его ильменка против ожидания услышала не гнев, а беспредельную горечь. – Как же ты не поняла?..

Векша шмыгнула носом и, насупясь, уставилась вниз и в сторону.

– Все я поняла.

Тяжкое, склизкое от жира железо так и норовило вывернуться из ее рук – пытаюсь удержать клинок, ильменка едва не воткнула острие своему коню в холку.

– Все я поняла, – повторила она, сопя от напряжения. – Ты бы еще хуже себя обязал, когда б отказался. Нельзя оттолкнуть, если с чистой душой дарено... Да забери его у меня – изувечусь же!

Вот ведь... Другая бы и в голову допустить не посмела, что можно сунуться вперед мужика. А эта... Не способен Мечник принудить себя держать рыжую наузницу в строгости, как должно мужу бабу держать. Она и пользуется...

Вздыхнув, Кудеслав протянул правую руку и сомкнул пальцы на железном опеньке.

И сказал горько:

– Даже словами я им не отблагодарствовал...

А Векша рассматривала на просвет сыромятную заворотку меча и сокрушалась:

– Вовсе не годится для путного дела: прорех да прорезов много... Слышь, ты меч прямо так, голым везти собираешься? Как бы ненароком не поранить себя или коня – ножен-то нету! Может, лучше обратно замотаем?

Она озабочено глянула на Кудеслава, и, будто бы лишь теперь уяснив смысл его последних слов, проговорила тихонько:

– Не кручинься, они поймут. Уж Зван-то – ежели он хоть вполовину таков, как о нем говорят – поймет непременно.

Мечник вздохнул и сильно потер лицо свободной ладонью. Впрямь, кручиниться поздновато. Случившееся случилось, и не возвращаться же теперь; не выкидывать же негаданно доставшееся оружие! Ишь ведь как искрится добрый клинок! Поистине Зван наделен могучей неявной силой; поистине даже среди немыслящих себя без ратного железа урманов редки кователи этакого уменья. А уж в здешних местах второго Звана попросту не сыскать.

Завороженный изморозным сверканьем клинка Кудеслав, забыв обо всем, оглаживал его восхищенным взглядом. От крестовины к носку; от носка к крестовине...

И вдруг Мечника словно батоном меж лопаток хлестнули. Близ крестовины он неожиданно разглядел два еле намеченных, почти незаметных знака, один из которых казался отраженьем другого.

Знаки эти были так похожи на ведовские наузы, что у Кудеслава мучительно затрепыхалось в груди. Неужто и этот меч – лишь лакомая приманка? Почему же сразу не распознались наложенные на оружие чары? Белоконево заклятье на старом своем мече небось мигом почуял, а тут...

Зван.

Могучий кудесник Зван.

Не оттого ли Ковадлю так скомкал прощание, не торопился ли он удрать, покуда не раскрылась званова хитрость?

Видя как внезапно пополотнел Мечник, Векша заставила своего коня чуть ли не вплотную подшагнуть к кудеславоу, а сама, немисливо вытянув шею, так и прилепилась взглядом к обнаружившимся на клинке знакам. А потом сказала, сникая да отворачиваясь:

– Это ведовство, только вовсе оно нестрашное, – голос ильменки сделался вдруг чужим, мутным каким-то. – Просто ворожба. На легкий и добрый путь.

Рыжая наузница шмыгнула носом, принялась внимательно рассматривать вершины деревьев. И добавила глухо:

– Путь, значит. Тебе – меч-то твой! Туда и обратно. Так-то вот: и обратно. Понял? "Зван часто заранее ведает, когда что станет надобно", – так, что ль, сказал Ковадло?

Она снова шмыгнула носом, утерлась рукавом, опять шмыгнула, и снова...

– Я так и знала, – прорезалось, наконец, сквозь это шмыгание. – Так и знала. Надумал отвезти меня к родне, а сам... сам – назад, сюда. По-заботливому, значит, решил... это... сдыхаться... Ну и ладно. И пускай. Не заплачу, понял?!

Это "не заплачу" Векша давила уже сквозь откровенные всхлипы.

А потом сквозь них, всхлипы эти, пошло давиться что-то уж вовсе ни в требу, ни на потребу:

– И не надо мне заботы твоей, в подачку кинутой! Сама доберусь! Тебе на зло – доберусь! Сдыхаться... Поглядим еще, кто кого! Я, может, там, дома, мигом найду себе... Даже искать не стану – свистну только! Небось, не забыл еще... еще... еще он и тебя, подстарка, получше! И умелец твоего получше! Не людей убивать умелец, он такого умелец, про какое в ваших зверьих чащобах и не слыхивали! Ему, может, краса важнее любой ущербности, а уж красы-то у меня станет! Какими глазами глядел, убивался как... Небось, не забыл! Небось, только улыбнись поласковой, и он... А я... А ты...

Ошарашенный Кудеслав на несколько бесконечных мгновений так и заляк с поднесенным к лицу мечом. А потом вдруг всей тяжестью тела, всей силой короткого, но по-боевому злого взмаха свободной левой руки вышиб распалившуюся наузницу из седла наземь.

Стремительным мимолетным взглядом чиркнув по барахтающейся в траве ильменке (цела вроде, только медленная алая струйка потянулась из, видать, прокушенной от удара губы, да в округлевших глазищах стынет не страх даже, а понимание: после выкричанного ею вздора иного обращенья ждать нечего).

Понимание...

Что там может она понимать?! Мечник Урман и сам только уже разворачивая коня понял все до конца.

Нет, белый промельк в зеркальной чистоте клинка – это действительно была пущенная откуда-то сзади стрела. Только предназначалась она не Векше. Неведомый стрелок хорошо попользовался мечниковой неподвижностью, старательно выцелив щель меж доспешной да шеломной закраинами. И, не дернись Мечник в ударе, дергаться бы ему в агонии: хоть и легка оказалась летучая эта смерть, но ее костяное жало насквозь простегнуло бы затылок и горло.

Вторую стрелу невидимый еще лучник метнул, небось, с досады на неудачу первого (казалось бы верного) выстрела. Чересчур издали метнул, чересчур уж явно: в лицо. Кудеслав только головой мотнул, и остроклювая, разочарованно взныв, лишь опереньем по скуле чиркнула. Да, легка, легка – не на человека, на мелкого неопасного зверя... Глуп он что ли, засадчик – с таким-то на панцирного?!

А третья угадала как раз туда, куда была послана. И пришлось Мечнику на чем свет стоит изругать себя за то, что после первого же выстрела не спешил. Понадеялся, вишь, на свою воинскую сноровку, да что стреляльщик один, да еще и дорваться до него, стреляльщика-то очень уж захотелось... Вот и дохотелось-донадеялось, голова твоя с пчелами...

То есть стреляльщик был, похоже, вправду один, и сам-то Мечник успел всё: и распознать, откуда выпархивает летучая гибель, и новый выстрел заметить, и вовремя рвануть повод... А вот непривычный к таким передрягам рабочий мирный конек не успел послушаться, и остроклювая воткнулась ему в плечо. Рана-то пустяка пустяшней, но испуганная скотинка завертелась, то брыкаясь, то нороя дыбиться, и пока удалось окоротить, успокоить...

Что толку было потом крутить головою и самому крутиться в седле, всматриваясь да вслушиваясь? Отчетливо хрустнуло раз-другой где-то справа, светлое что-то умелькнуло куда-то влево... Пустое. Куда ни кинься – хоть влево, хоть вправо, а хоть к кусту, из которого били стрелы – только собственный нос поймаешь.

Всё.

Ушел стрелок.

Ловко ушел – куда ловчее, чем пытался убить.

Вовсе уж леший весть где лениво прокричала сорока; алчно звенел над ухом примеривающийся комар; за мечниковой спиной крепла мешанина из топотанья, шороха, сдавленных бормотаний (Векша, опамятовав, ловила своего коня)...

Кудеслав вздохнул, тронул пальцами наливающуюся мозжением шею – на пальцах остались красные пятнышки... Не вовсе, значит, мимо прошла та, первая стрела... Что ж, воин, жди теперь. Ежели тебе да коню вскоре взнеможется, значит, стрельные наконечники травлены и неведомый лучник никак не дурень.

А если не занеможется, лучник все едино не дурень. И ты не дурень со своими страхами за ильменку.

Если ты да конь не отравлены, выходит, умелый засадщик с якобы дурацкими стрелами собирался лишь ранить. Векшу. И лишь в последний миг передумал, попытался убить. Тебя. Почему?

И почему он так вот вдруг ушел? Стрелы закончились? Интересно, у кого еще, кроме Белоконя, такая привычка: если иметь при себе стрелы, то не более трех? И заваялся храниль-ник куда-то еще до света... Не сюда ли?

И Векшин припадок уж чересчур был нелеп да вздорен... Ишь ведь, умельца какого-то себе в Приильменьи выдумала...

Или не выдумала?

1

То не буйный ветер в чаще гудет,
Не зверина в буреломе ревет,
Не воронья туча грает,
И не молодец гуляет —
Переполнена корчага улочкой бредет.

Сиплый вой, в котором лишь с немалой натугою можно признать людское пение; смачное чавканье раскисших лаптей по жидкой грязи; надоедливый шум дождя... Проклятый дождь — он что, вознамерился идти вечно?.. Трижды проклятая грязь... Трижды по трижды проклятая жизнь — покуда еще коротковатая, но уже успевшая опостылеть; беспросветная, как низкое кудлатое небо; унылая даже в разгульности своей, как эта песня, самовольно рвущаяся из глотки, надорванной едким дымом плавильного горна.

В той корчаге то туды, то сюды
Колыхаются хмельные меды.
Уж они бурлят да бродят,
Хоровод со снедью водят —
Знать, хотят пойти наружу, натворить беды.

Только нам ли с той беды горевать?
Выйдет убыль — враз пополним опять.
Как не пить, коли подносят?
Как не петь, коль сердце просит?
Эвон псы нам подвывают... Эка благодать!

А дождь все льет и льет. Унылый, тоскливый, вялый. Вроде бы совсем недавно отгуляли-отрадовались празднество первого снопа; еще только начинают желтеть листовые перелески — пока только грушковые деревья успели запылкать полносильным осенним пламенем. И вот, на тебе... В единое утро под мокрым ветром с Ильменя синева неба заросла кудлатым хворостным мхом. И осень, толком даже еще не родившись, расплакалась по-старчески тихо да надоедливо, словно бы успев уже осознать неотвратимость гибели своей под студеным дыханьем белолюбивой Морены.

От дождевой воды да хмельного пота волосы на голове слиплись тяжким колтуном, метеляющимся в такт нетвердому шагу; беленая праздничная рубаха мокра насквозь и вся в пятнах от браги, мясного сока и дорожной грязи; полосатые сине-белые штаны ямской работы словно бы из сырой глины вылеплены и при каждом движении больно ляпают по коленям; на онучи да лапти вообще страх глядеть — ноги вместо ступней оканчиваются пудовыми комьями твани с конским и прочим навозом пополам (это хорошо, ежели всего-навсего пополам)... Опояску не то на Гостюхином подворье забыл, не то дорогою утерял — пойди теперь, выищи...

Хорош, в общем — спасибо хоть люди дорогой почти что не попадают. Или попадают, да ты вниманья не обращаешь? Наверное, так. Вон мимо скольких дворов пришлось пробираться — дождь дождем, а уж насмотрелись на тебя многие, будь покоен.

Переполнена корчага улочкой бредет...

Нет, не улочкой — улочки уж враг знает где остались.

Давным-давно вылилась путь-дорожка из Старого Града; вылилась, значит, и пошла виться-змеиться по Междуградью, через голые убранные поля да топтанные скотиной луга, мимо изгородей самочинных подворий... Дорожка-то вьется, петляет, с другими переплетается, и ноги хмельные бредут по тому плетению, куда сами хотят. Ну, и куда же это они забрели? Оглядеться бы, не то занесут куда-нибудь вовсе в ненужные места!

Так и есть: занести не занесли, однако же крюка дали изрядного.

Эвон всего лишь в полуверсте виднеется сквозь мутное дождевое марево Навий Град – кладовище вокруг подножия огромного, будто бы непомерной тяжестью своею прилюснутого Идолова Холма. Вон и курганы-могилы ясно видать... Разные они там – и круглые, и длинные, и такие, что лишь оплывшим горбочком кажут себя над землею... И смертные избы... И этак с любой стороны от подошвы почти до четверти высоты холма, с плосковатой лысой вершины которого глядится в небо прадавнее идолище бога Велеса – огромное, едва ли не достающее каменной мордой тяжкие злые тучи... Или достающее-таки? Далековато, не разобрать отсель... Ближе, что ль подойти? Ай, да пес с ним, с медведищем!

И-эх, то не буйный ветер в чаще гудет! Не зверина в бур-р... ур-р... Тьфу!

Ан куда же это все-таки тебя, дурня, несет? Тебе бы вниз, к берегу Гостинца-кормильца, да берегом-то и добираться. Дорога там легче, чище – все больше колодами да горбыльем мощена. А отдохнуть, к примеру... Под чью-нибудь лодью влез – вот тебе и отдых. А пожелаешь, так и ночлег.

Может, это ты на Холм волокся, к Корочуну-хранильнику? Может, и так, а только лучше б не надо: в этакое, с позволенья сказать, состояньице до Святилища ни в жисть не докарабкаться.

Домой бы... Мокро же, холодно, и сил уже нет дергать ноги из трижды клятой грязищи. Если бы спьяну не понесла нелегкая окольной верхней дорогой, уже бы две трети пути миновал. Поди, в этот самый миг мимо подворья самочинца Горюты шел бы, а это от твоего теперешнего дома рукой дотянуться.

Во, вот оно. Горютино подворье...

И прежде-то мимо него ходить опасался – а ну как хозяин на глаза попадетя?! Уж небось руки своею бы волей голову его недоумкуватую отвертели, сполна бы воздали старому псу, в расплату за чью вздорную гневливость община отсудила Векшу иноземным гостям – купленницей, двуногой скотиной, на позор да поталу...

То-то – прежде. А уж теперь, когда Векша воротилась... Да не одна, а с этим своим... Иной раз аж во сне привидится, какходишь на этот двор, да в глаза ей заглядываешь... Небось не отведет взгляда – даром что сызмальства у нее такая повадка: чуть не по ней, тут же вбок глядеть начинает, аж шея скрипит, выворачиваючись... А шея-то дивная, высокая, ровно лебязья...

Да, вот так бы и наяву: глаза в глаза, чтоб без единого слова припомнила, как шепот ласковый слушала, какие слова шептала в ответ... Давно ли было? Всего лишь чуть больше двух лет тому...

И чтоб муж ее, зверина лесной, в этакий миг рядом случился – а ты бы его за бороду, да об стену, да оземь... Вот тогда-то поняла бы глупая Векша, кого на кого променяла. И – в слезы, в ноги тебе: прости, мол... А ты бы пальцы ее от рук своих оторвал, отворотился бы гордо, да прочь, через этого ее Вятича переступивши...

Ох-хо-хо... Во снах да в мечтах оно все ладно выходит, достойно, а вот на деле...

На деле ты, мил-друг, давеча как повстречал ненароком ее в проулочке, Векшу-то, так будто сила неведомая тебя через чужой плетень перенесла, за поленницу вмяла. Пес сторожевой заливадается, штаны да то, что под ними, рвет-угрызает, а ты знай кулак в рот и сам же себя до крови: только бы прошла, только бы не заметила... Хорошо хоть псина попалась мелковатая

– ночи три на брюхе поспал, на том и минулось. А ежели по правде праведной рассудить, кто перед кем виноват? Не Векше ли Горютиной от тебя за поленницами хорониться?

Да, вот те и сны-мечтания. Была Векша Горютина, а теперь она Вятичиха – на том тебе и вся праведная правда.

Стал быть, поклон вам, спотыкливы ноги да хмельна голова, что не поволокли дурного своего хозяина мимо Горютиного жилища.

Не проволокли. А теперь-то куда волочёте? Домой? Х-ха!

Одна нам с вами, ноги, дорога – к Чарусе, так то не дом. У подъяремной скотины домов не бывает. Чаруса – он чаруса и есть, твань, хлябь несытеющая. И ведь как ни суди, а в той дурости, которой ты собственную долю изломал, твоей вины лишь половина. А вторая половина Векшина – разве не так? Причаровала, крепкими проволоками к себе прикрутила наузница-волхова; ты из любви этой безысходной судьбу свою растоптал, и что взамен? Вятичиха?!

Трясущиеся квелые пальцы торопливо нащупали на груди увесистый мешочек-лядунку, крепко стиснули его вместе с мокрым сорочечным полотном.

Все. Ни сил, ни желанья куда либо брести более нет.

Некуда.

Незачем.

Остогыдлю.

Ничего, погода нынче хороша – мокреть, холодно, ветер вон поднимается... До полуночи наверняка околеешь. И ладно. Лечь бы прямо где стоишь – в грязь, так в грязь; заснуть (плевое дело – хмель пособит); увидеть напоследок во сне ее, проклятушую, и...

Заплачет, наверное, когда дознается про погибель твою; пожалеет, что этак вот обошлась... А нет, так и не надо.

– Эй, ты, дурья голова! Чего встал шестом? Вынашел, понимаешь, время да место... Шевелись – залякнешь!

Ну вот, помереть – и то не дадут. Куда ни ткнишь, одно невезенье. Теперь изволь оглядываться, браниться с невесть кем, чтоб отвязался, шел себе мимо да не лез с дурными советами к занятому человеку...

Нет, этот, пожалуй, вряд ли пойдет мимо. Точно, не пойдет. Потому, что во-первых не пеший, а во-вторых не один.

Видать, мысли безрадостные и дождевой шум воспрепятствовали расслышать, как сзади подъехала да остановилась всего лишь в нескольких недлинных шагах телега, запряженная толстопузой лошадкой. А на телеге той сидят, свесив на одну сторону обутые в лапти ноги, два мужика. Степенные такие мужики, оба в летах (лицо одного вроде бы знакомо), одеты опрятно и почти сухо, потому как от дождя клаптищем смоленой кожи накрылись... Сидят, значит, и рассматривают. Любуются, значит. Нашли чем...

– Эге, да это, никак, ты, Жежень? – удивленно протянул тот, знакомый (вот только имя его припомнить не удается... да и не хочется). – С чего это тебя сюда занесло?

Говорун примолк, дожидаясь хоть какого-нибудь ответа; потом (когда понял, наконец, тщетность ожидания) обернулся к своему спутнику:

– Это Жежень, подручный захребетник Чарусы-златокузнецца. Вот ведь как нахлестался! Небось, в Старом Граде, у Гостюхи бражничал – тот вдовую сестру за старика Гипа вытолкал. Дак куда ж ты, сердешный?.. (Это уже продолжающему бездумно хлопать глазами немому опудалу, столбенеющему среди дороги). Куда ж ты забрел? И Гостюха хорош, в елку его – залил мальчика превыше ушей, да и отпустил. Нет бы у себя положить, приглянуть! Ну я ужо ему попе-ню, Гостюхе-то!

Второй мужик сплюнул не без гадливости, загудел басовито, словно сердитый шмель:

– Ты лучше Чарусе бы попенял. Ишь, распустил выученика... Мальцу, поди, шестой аль седьмой год над первым десятком, а глянь на него! Хмелен до скотского уподобия, грязен,

расхристан, рожа в кровище... Ни чести, ни совести – срам глядеть. Такого бы вожжами с утра до вечера, а потом с вечера до утра, а потом сызнова...

Так, рожа, значит, в кровище. Теперь понятно, почему пояса нет: дрался стало быть. Распояской, по-честному, не по хмельной злобе... во всяком разе, сперва. А потом? И с кем дрался-то? Может, с самим же Гостюхой? Ох, похоже в Старый Град тебе носа более не казать... хотя бы покуда про драку доподлинно не вспомнешь. Интересно хоть кто кого: ты или тебя? Кроме рожи вроде больше и не болит нигде, да и рожа-то не сказать, чтоб уж очень... Ну, колено еще. И локоть. И плечо. И в затылке как-то не так – наверное, гуля наливается. Одним словом, почитай совсем без ущерба драка минулась. Значит, наверное ты его. А кого – это, в общем, дело десятое. Опояску же либо забыл подвязать, либо сперли ее... Или под конец мордобития тебе не до пояса стало – пришлось озаботиться, как бы ноги унести? О-хо-хонюшки... Ладно, опояска – то пустое. Главное, лядунку не утерять. Уж от такой потери впрямь бы только руки на себя наложить.

А тележные мужики тем временем гомонят, препираются меж собой. "Да не шпыняй ты его. Тут дело особое, я тебе потом..." "...Куды ж мы его? К Чарусе – это ого какого кряка давать, а мы и без того... Сам пил – сам пушай и..." "Да жалко... Провезем маленько, а вниз уж пускай своими лаптями... Вниз-то легче: упавши – и то докатится..." "Ну, леший с вами обоими. Эй, ты, недоладный! Полезай уж."

Недоладный... Это кого ж он так? А-а-а, вот что! Ну и хвост те поперек хари; раз ты так – не полезу. Не полезу никуда, и все тут, хоть ты себе бороду вырви с досады. Будешь знать наперед, кто из нас двоих недоладный.

– Да лезь уже, горюшко родительское! Околеешь ведь, в елку тебя!

Ладно, коли этак вот, уважительно, то и мы уважим, полезем-таки. Только вот куда бы? И вообще, сколько можно столбом торчать? Не присест ли? А эти... Хотят – так пушай на руках затаскивают куда им там надо. Это же им надо. А нам не плохо и здесь.

...Скрипит-качается расхлябанная телега; больно поддают на ухабах шаткие борта – один под коленки, второй по затылку; ноги скребет колесо – того и гляди правый лапоть снимется... а правая рука перевесилась через тележный задок и скребет пальцами по дороге... Благодать!

Заволокли-таки, значит, на телегу свою. Заволокли, положили, прикрыли от дождя краем накидки (хватило того края аж на половину рожи да на левое плечо) – и везут. Куда? А враг их знает. Да и какая разница? Главное, что ни идти, ни думать теперь не надо.

Можно просто лежать и глядеть прищуренным правым глазом в косматое небо, которое ненастный скудный закат окрасил в цвет застарелой раны.

А еще можно слушать. Слушать гулкие тягучие раскаты да гадать – то ли это дальний небесный гром, то ли в твоём же брюхе выпитое песни играет. Слушать чавканье размокшей дороги под лошадиными копытами; жалобы колес; монотонную дробь дождевых капель по смоленой коже; пробивающийся сквозь все это неспешный – с ленцой – разговор...

– ...знаю родителя. И его самого еще вот этаким помню. Родитель-то все его к своему кузнечному делу приучал, как и надлежит, а он... Он вроде чему-то не тому выучился. Такому, чего и сам отец-научитель сроду не умел. Он, Жежень-то, сказывают, года с три тому сам, без отцовской подмоги, выковал из железа отцов лик. И вроде так похоже да живо – прям вот сей же миг уста приоткроет и, в елку его, скажет чего-нибудь.

– Враки! – Гудливый бас – это тот, злой обозвался, который давеча тьявкал про "вожжами с вечера до утра". – А коль не враки, так и того хуже. Дурное это дело – подобья творить, от того живому человеку может выйти какая порча.

– Да ты погоду суждение высказывать, ты слушай. Волхв Корочун, к примеру, как о том дознался, про порчу ничего не сказал. Наоборот, попросил из меди Велесов кумир сработать – махонький, чтоб при себе носить. Жежень и сработал, да так, что Корочун нарадоваться не

мог. И отплатился вдвое щедрей, чем они с Жеженовым отцом попервах сговорились, вот. А ты: "дурное дело"... Какое ж оно, в елку, дурное, ежели за него платят?

Да, так вот... Потом вскорости лихая беда приключилась. Мошновитый проезжий гость из немцов где-то высмотрел Жеженово кование, и мало умом не тронулся. Сперва никак на веру не брал, что это безбородый парнишка удался таким дивным умельцем, а потом... Вроде бы дал он Жеженю Старому золотой желвак, дабы Жежень Малой из того желвака ему голую бабенку сработал – не то водяницу, не то какую иную немцовскую богиню. Жежень-то было взялся, да только неладное что-то вышло с тем желваком. Кто говорит, будто утерял парнишка немцово золото, кто – будто испортил (пережог, или как там еще можно золото, в елку его, испортить?)... А иные бают, словно бы он готовую уже вещицу не захотел отдавать в хозяйские руки – ну, знаешь, всякое ведь с человеком случиться может: лбом о притолоку зашибся, или еще чего... Так, иначе ли, а пришлось бы Жеженю Старому ответить изрядной долей своего достояния, но выручил его (заметь – непрошено выручил, по доброй охоте!) золотых дел умелец Чаруса: немцу возместил потерю да обиду, а малого Жежена за то взял вроде как в подручные-закупы – покуда, значит, не отработает. Но, может, и насовсем так останется, потому что родитель от своего очага парнишку отлучил. Стало быть, за злодейское ухищение. Мол, не сын ты мне более, и всё тут. И, выходит, даже сумей Жежень Малой выкупить себя, деваться ему будет вовсе некуда кроме как опять же к Чарусе.

– Так этому бы сопле не бражничать, ему бы в лепешку плющиться заради благодетеля! А он свинствует!

– Ты погоди. То еще, в елку его, надвое гадало, кто кому благо деет. Бают, вишь, будто к Чарусе, как он Жежена взял, удача так и поперла. Вещицы он работать стал, каких прежде не дельвал – одна другой редкостнее. От того и достатком несказанно окреп, и слава о нем в чужедальние края покатила вослед за торговыми гостями. И еще (это я доподлинно ведаю), как Чаруса что-нибудь новое издывает, так Жежень непременно ухлестывается до свинячьего визгу, вроде как нынче. Или, ежели хошь, иначе можно сказать: коль Жежень упился, значит, новую Чарусину поделку крепко хвалили. Вот и скажи: с чего бы такому, в елку его, получаться?

Несколько мгновений молчанья. Потом басовитый неуверенно вопрошает:

– Что ли Жежень твой хозяйской умелости да славе завидует?

В ответ – дробный смешок:

– И-и-эх! Умный ты мужик, а только ничегошеньки не упонял! Ты прикинь: многим ли закупам хозяева этакую волю дают? Да родным сынам не годится прощать то, что Чаруса в иночасье прощает Жеженю. С чего бы так, а? Сызнова, что ль, невдомек тебе?

– Невдомек... – обиженно тянет басовитый.

И вдруг словно что-то испугало его:

– Э, глянь, еще переходный на дороге... Вишь? Вон, у сосенки! Тоже что ли пьянчужка? Небось, ты и его захочешь подвозить? Так это, мил-друг, токмо к тележному задку привязать да волоком волочить: места-то боле нетути! Или может, накажешь бочонок выкинуть?

Ах, бочонок у них! Вот, значит, что в левый бок впивается, прямо под самые ребра достает! Впрямь, что ли, выкинуть его на дорогу? Ведь этак не езда поучается – сплошное мученье! Только остороженько, а то хозяева, ежели заметят, поди заругаются; чего доброго попробуют даже драться... Им-то что – им же тот бочонок ребра не грызет, а чужая горесть всегда не в горесть. Но прежде, чем выкидывать, непременно надобно проверить, чего там внутри. Ну как брага?!

– Не бойсь, в елку тя! – это обозвался тот, который знакомым кажется (вот ежели бы не сподобили боги обожраться хмельным до рогатых зябликов, так уж давно бы сумелось того человека по имени распознать).

– Не бойсь, в елку тя! Никакой это не хмельной. Это, кажись, Свейка Полудура.

– Так и чего ж ты возрадовался? Во денек выпал – то Жежень твой как сыч на голову свалился, теперь еще и колдунью повстречали...

– Да она не колдунья. Так себе, побродяжка вовсе безобидная – ни кола, ни двора, ни ума, ни людям особого беспокойства. Еще и глухая-немая.

– А ежели не колдунья, так чего ж свеи, что в крепостце, ее к себе не берут? – ерепенится басовитый. – Чего ж она все по нашим да по ямьским дворам побирается, а к своим носа не кажет?

– Сказывают, она какая-то не совсем свейская. Те свеи, что в крепостце – они совсем свеи, чистородные то есть, а эта – нет. Или она совсем, а те – не совсем... В общем, кто их, в елку, поймет, свеев-то?

– Ну, может и не колдунья... А только нехорошо это, что мы ее повстречали, – эге, а у басовитого-то, кажись, зубы поцокивают! – Верить ли, как увижу ее – по коже мурашня так и дерет! И дух-то от нее мерзостный; и одежда дрянная; а уж образина! Черным-черна, словно бы она в ягодном соке моется!

– Во сказанул – сок! Да она, в елку, поди отродясь и водицей-то не мывалась! Ну, а что вместо лика у ней морда зверья – значит, уж так судилось. Ее, старую, пожалуй бы, а не бояться!

– Во-во, больно ты жалостливый. И этого вон, свиноватого, тебе жаль, и старую безумную каргу незнамого роду-племени... Всех задарма жалеть – жалелка перетрется, понял? Э, стой! Ты чего удумал?! Задля какого лешего ты ее манишь?! Она ж было в сторону побрела, так нет же, размахался руками! Сам ты, погляжу, дурня огрызок!

– Не, она нам кстати. Она Жежени в лучшем виде до дому доведет.

– Это с чего бы?!

– Да с того: люб он ей отчего-то. Таскается за ним, будто собака – это я сам сколько раз видывал. Он и кричит бывало, и камнями кидается – не отстает и все тут. И подачки от него не берет, только норовит по плечу погладить, да урчит что-то ей одной уразумелое. А уж если праздник такой случится, что он ее попросит об чем-нибудь – глухая там или не глухая, а только пятки костлявые засверкают. И еще вот че я видал однажды: Жежень как-то затеял драться сразу с тремя ямцами, и они его попервах крепко мочалили (он ведь, дурень, драться любит, но не умеет). Так Полудура как увидала – выломала кол из чьего-то плетня и ну тех ямцев гонять! Во потеха была! Такие, значит дела.

– Да дела понятные, – басовитый сплюнул. – Чует, небось, что Жежень твой вроде нее – полудурень – вот и липнет... А как же ты ей станешь растолковывать, чего от нее надобно? Она ж ни мухомора не разбирает!

– Не скажи! Слова "на" да, к примеру, "хлебушек" она, в елку ее, слышит-разумеет не плоше, чем мы с тобою.

Ох, мужики, доберусь же я до вас когда-нибудь! Благодарствуйте, что хмелён, а то б нынче же... "Драться любит, да не умеет"... Ох, показал бы я тебе свою неумелость! "Полудурень"... Да за такое слово... Да я... Я... Ох-хо-хо, ну до чего ж ко сну клонит!..

* * *

Безъязыкая побродяжка на самом деле доставила его "в лучшем виде". То есть именно вид-то у Жежени как раз был страшной страшно. Когда бы парень мог видеть, на что похоже его лицо, враз позабыл бы надеяться, будто вывалившаяся из памяти драка окончилась его верхом.

Несмотря на старость и бесприютную проголодную жизнь Полудура силой могла потягаться с дюжим молотобойцем (что изредка и вытворяла ради людской забавы да своего пропитания). Жежень – отнюдь, кстати, не коротышка – теменем едва доставал до ее подбородка.

А потому тележные мужики вовсе не удивились, когда свейка, быстро уразумев, чего от нее хотят, взвалила уснувшего-таки парня на плечи и твердо зашагала с этой ношей по склизкой грязи.

Жежень проснулся лишь когда Полудура осторожно поставила его на ноги возле плетня, отгородившего собою от прочего мира двор златокузнеца по прозванию Чаруса.

Миг-другой парень продолжал цепляться за свейкины плечи, оглядываясь в тягостном недоумении – пытался понять где и каким образом очутился. Потом в мутных его глазах прорезались зачатки осмысленности. Торопливо отстранившись, Жежень окинул неприязненным взглядом стоящую перед ним полоумную инородку. Нескладная, скособоченная, укутанная в длинное (до щиколоток) подобье рубахи из ошметьев шкур, уж и не уразуметь с какого зверя добытых – иные ошметки мехом внутрь, иные наружу... Только мех – это громковато сказано. Не выдумано еще слова, чтоб обозначить такое вот слипшееся, потертое, вонючее...

И подобным же невесть чем обмотана вместо платка свейкина голова; и такое же накручено на ноги Полудуры...

А уж лицо!

Криворотое, черное; и огромные серые глаза среди этой черноты кажутся совершенно белыми, бездумными, рыбьими... Впрочем, бездумными свейкины глазищи не кажутся – они таковы и есть.

Жежня передернуло. Не от холода – от гадливости.

Полудура – даром что хорошо еще, коли впрямь только ПОЛУдура – истинную причину этого передергивания явно угадала (не впервой было беспритульной свейке разгадывать такие загадки). С протяжным коровьим вздохом она повернулась и медленно побрела вдоль плетня, растворяясь в вечерних сумерках и дождевой мути.

Боги знают, куда вдруг понесло ветхую умишком старуху. Наверное, к Гостинцу: у нее в береговом обрыве было вырыто что-то вроде зверьего лежбища.

Жеженю стало неловко. Вот ведь, озаботилась о нем Полудура-то, а он... Под кровлю, конечно, старую безумицу не потащишь – не своя ведь кровля. Но хоть бы снеси какой вынес побродяжке болезной для возмещения ее сил, ради тебя истраченных...

Впрочем, на выручку растревоженной совести тут же пришла спасительная досада.

Ну чего она, недоладная эта свейка, вечно так и липнет, будто Жежень не человек – борть медвяная?! Уже не только сам Чаруса и все его домочадцы, не только ближние соседи, а вовсе незнакомые люди изводят насмешками. "Эй, гляди – вон суженая твоя идет! Что ж ты не рад?! Беги навстречу, приголубь, расцелуй в румяные щечки! Гы-гы-гы!"

Тьфу, чтоб ваши языки опрыщавели...

И этак ведется чуть ли не аж с тех самых пор, как объявилась в здешних краях эта разъехавшаяся умом безъязыкая зайда (а объявилась она вскоре после того, как старики присчитали Векшу к Горютиной вире за убиенного гостя-купчину).

Вот и пускай себе бредет Полудура куда хочет, абы подальше; пускай мерзнет да мокнет в своей прибрежной берлоге. Хоть бы, наконец, до смерти вымерзла...

Жежень в сердцах плюнул вослед старухе, успевшей уже потеряться среди моросной мглы, и полез через плетень.

Лез он долго. Пыхтел, сопел, трижды срывался; потом, перевесившись, наконец, животом через шаткий колючий верх, зацепился рубахой и ни туда, ни сюда... А потом, когда, оставив на плетне изрядные клочья одежды, тяжело ввалился во двор и заворочался в мокрых бурьянах, пытаясь встать хотя бы на четвереньки... Да, именно тогда всего лишь в паре-тройке шагов левее заметил он удобный – с широкими тесовыми приступками – перелаз.

Сперва парень разозлился. Потом неожиданно для самого себя принялся тихонько хихикать. А через миг от его громкого визгливого хохота сорвался заполошным лаем дотоле мирно дремавший под крыльцом сторожевой волкодав.

– Цыть! – оборвав смех, грозно прошипел Жежень. – Поди, спят уже все (вишь, ставни затворены?), а ты то ржешь, то брешешь! Молчи, сука! Или ты кобель? Тогда тем более!..

Кое-как поднявшись на ноги, парень побрел через двор. Псина зевнула с тягучим прискуливанием, и Чарусин закуп вновь яростно тряхнул кулаком: "Цыть, говорю! Тихо!" И вдруг ни с того, ни с сего заорал плясовую:

Как пониже-то кудрей
Да повыше бороды,
Меж развесистых ушей,
Там, где место головы —
Во потеха, во умора! —
Там трескучая комора;
Не комора – краса:
В окна лезут волоса.
Строена шатко,
Метена гладко,
Пустым пуста,
Ан отнюдь не проста:
Как об стенку грюк-стук —
То-то выйдет звук, звук!

Оборвав пение, Жежень вновь захохотал – показалось ему, будто бы волкодав вторит песне удалым залихватским гиканьем. И тут с испуганным скрипом приотворилась избяная дверь, выронив на собачью спину да на ступени крыльца желтую полоску квелого лучинного света.

– Что ж ты глотку дерешь, вражина?! – хуже намазанной двери проскрипел голос опасно выглянувшей во двор хозяйки. – Весь день прошлялся, бездельник ты, дармоед проклятый; хмельным залился по переносье, а теперь еще смеешь буянить, честным людям заслуженный сон ломать?! Детей мне перебудил, сволочуга такая; пса заполошил... Благодарствуй доле, что хозяин в отлучке, он бы тебя... Да куда ж ты прешь, глаза твои без капли стыда?! Не пущу в избу! В стайне ночуй – тебе, скоту, со скотиной самое место!

– Са-а-ма ты... Пса ей жаль... Сука! – сказал Жежень, и задохнувшаяся от возмущения хозяйка прянула назад, в подсвеченные лучиной сени, торопливо и крепко прихлопнув за собою дверь.

– Нужна мне твоя изба! – парень повысил голос, стараясь перекрыть грохот засовов и лай вконец растревоженного перебранкою пса. – Я и сам в стайню хотел! Уж лучше с конем, чем со свиньями!

"Ужо попомнишь, сволочужина – все хозяину расскажу!" – невнятно донеслось из избы.

– Боялся я твоего хозяина, как еж шлепка! – сплунув, Жежень с нарочитой неторопливостью отправился к стайне.

А дождь все лил и лил. Торопливый закат утопился в хворостной ржавой крови. Темно и склизко было на Чарусином дворе, и сам двор оказался каким-то неправильным. Жежень ведь знал этот самый двор, как собственную пятерню, но почему-то вдруг ушибся о дровокольную колоду, которая на пути к стайне попасться никак не могла; и сама стайня оказалась на себя не похожей...

Уже распахнув пинком несообразно низкую дверку и в удивлении замерев на пороге темного строения, пахнувшего чем угодно, только не конским духом, парень вдруг сообразил, что хмельные ноги собственным разумением решили свернуть влево там, где следовало бы развер-

нуться направо, и вместо стайни прибрели к кузнице. Что ж, это место пригодно для спанья не меньше, чем любое другое.

Радуюсь близости долгожданного отдыха, Чарусин закуп прямо через порог ударил было в присядку, но ступня его подвернулась на какой-то колдобине, и ошалевший парень смаху повалился под ближайшую ко входу стену, сшибая да руша на себя гремучий увесистый хлам, состоящий из одних острых, больно клюющих углов.

Прикрывая руками голову, Жежень терпеливо дождался, пока обрушенное добарабанит по его спине. Потом он заворочался было, собираясь выкарабкаться из-под насыпавшейся на него груды, но тут же сообразил, что это будет не поздно и завтра. Разве умное дело вставать лишь для того, чтобы через какую-то пару мгновений снова улечься?

...Ему приснилось, что он проснулся от холода и мучительного неудобства.

То есть это сам Жежень торопливо уверил себя, будто разбудили его сырая одежда и давящая затылок, спину да прочее жесткая угловатая дребедень. Не мог же он признаться – даже себе самому и даже в пьяно-бредовом сне – что способен (пускай и опять же во сне) испытывать такой отвратительный тошнотворный ужас!

А сон-то выдался на диво связным да настоящим – куда там мутной невнятице, грезившейся, бывало, Жеженю с прежних его похмелий...

Итак, он будто бы проснулся.

Чуть повернув голову, будто бы выглянул осторожно в просвет меж стоптанным до дыр сапогом и мятым бронзовым котлом-конобом.

Дверь в кузню была приоткрыта. Снаружи по-прежнему бормотал утомленный собственной бесконечностью дождь; низкие тучи тлели унылыми ржавыми отсветами – не то все еще околевал закат, не то уже занималось неприкаянное увечное утро...

Но страшное было не снаружи. Неведомая, и от этой неведомости своей совершенно непереносимая жуть притаилась здесь, поблизости, в самой кузне.

Впрочем, притаилась ли? Близ невздутого горна кто-то покашливал, протяжно вздыхал; потом вдруг послышался странный звук – будто бы огромная птица встряхнула тяжкое вымокшее оперенье – и по жеженеву глазу хлестнули холодные капли.

Это было больно, однако Жежень (во сне ведь любые чудеса возможны!) смолчал. Не ругнулся, не вскрикнул – да что там, он даже не дернулся, даже сморгнуть не посмел, чтоб и на ничтожнейший осколочек мига не лишит себя возможности увидеть...

Увидеть что?

Полно, да разве можно хоть что-нибудь разглядеть в бурых сумерках, цедящихся сквозь полуприкрытую дверь да крохотное окошко под самой кровлей? И в конце концов, чего бояться? Ну, залез кто-то в кузню – эка небыль-то! Немало окрест татевитых дурней, воображающих, будто у златокузнеца это самое золото в каждом углу грудями свалено. И в кузню вламывались уже, и в избу пробирались на жеженевой памяти – бывало, что и при оружии да не в одиночку... Наяву парень только радовался подобным негаданным развлечениям. Драться-то он возможно и впрямь не шибко умел, но уж что любил – это точно; а малый кузнечный молот штука сподручная не лишь для ударов по мягкому от жара металлу.

Вот и нынче, во сне, заругаться бы громким басом, вскочить да и... Конечно, может быть это сам хозяин возится близ холодного горна... Так оно б еще даже лучше: хоть так отвести душу, если уж въявь не дано за все-все воздать старому несытому...

Так чего ж ты лежишь колодой, опасаясь дышать?! Почему в груди у тебя словно бы полоумный дятел наружу выдалбливается?! Боги, да что же это за сон такой неудалый?!

Между тем возле горна послышались частые удары, словно бы кто-то пытался высечь огня (да не "словно", а так и было); и вот заполонившие кузню сумерки нехотя потеснились, оттянулись в углы да под кровлю, без особой спешки уступая место колеблющемуся желтова-

тому свету. И на прокопченных бревенчатых стенах вздыбились огромные тени, окунувшиеся головами в подкровельный мрак.

Чаруса был здесь – это именно он засветил масляную плошку и держал ее теперь на вздрагивающей раскрытой ладони. Похоже, златокузнец долгонько и далеко носило под дождем: его плащ из белой сырмятины потемнел да раскис от влаги; рукав рубахи – хоть выжимай; холщевые штаны и голенища некогда красных сафьяновых сапог заляпаны грязью... Стриженная да не единожды смаленая пегая борода старика и его перехваченные кожаной лентой рыжевато-седые волосы тоже были мокры, но, верно, больше от пота – не мог же он шастать по ненастью с непокрытой головой?!

Но всего приметней было щекастое, чернеющее въевшейся копотью Чарусино лицо. Не все лицо даже, а крохотные зеленоватые глазки. Так и бегали они, так и шныряли-шарили суетливым взглядом по стенам, по углам, по истоптанному глинобитному полу... Куда угодно зыркали эти самые глазки – лишь бы не на тех двоих, что спокойно и молча стояли перед Чарусой.

Они наверняка пришли вместе – Чаруса и его неведомые гости; тем не менее Жеженев хозяин явно боялся своих гостей.

Да уж, этаких пожалуй что забоишься...

Высокие костлявые мужики... Почему-то Жеженю именно так подумалось о них: "костлявые" и "мужики", хотя одним лишь богам было ведомо, что на самом деле скрывалось под длинными – до пола – просторными хламидами цвета неухоженного гнилого железа. А лица обоих прятались под низко надвинутыми островерхими колпаками-клубуками, и виделись те лица смутными пятнами темноты. Только и можно было угадать острые, выпирающие вперед безволосые подбородки.

– Говорил же я – никого здесь, – вдруг вымолвил Чаруса без особой приязни в голосе. – Все в избе, спят.

– А этот твой... Его-то в избе не имелось! Где? – проворчал один из ржавых.

Голос как голос. Хрипловат правда, и слова выговаривает слегка непривычно, однако ж вполне по-людски...

Поймав себя на этаких мыслях, Жежень до того опешил, что даже на миг-другой перестал бояться. "По-людски"... А кем бы еще могли оказаться Чарусины гости? Ну, необычные гости, невиданные, так разве мало в здешние места навевается всяческих немцов-иноземцев?

– Он в стойне, – говорил между тем златокузнец. – Жена моя в избу его не пустила, он и пошел туда, в стайню-то. Это где конь.

– Его не имеется там, где конь – сказал ржавый. – Я засматривал.

Второй ржавый молчал, лишь едва заметно шевелил головой и все посапывал, пошмыгивал носом. Застудился что ли под холодным дождем?

Чаруса, похоже, начал терять терпение.

– Мало ль куды мог забрести хмельной дурень? – сказал он раздраженно.

Тот из ржавых, что дотоле помалкивал, вдруг качнул головою сильнее прежнего, и Жежень мгновенно облился ледяным потом. Привиделось ему, будто в тени клубука вспыхнули на краткую долю мига две багряные искры – вроде как хищные звериные очи взглянули с человеческого лица.

"Больше в рот не возьму проклятущей браги!" – мельком подумалось парню.

И тут Жежень наконец сообразил, что хмельной дурень, которого "не имеется" в стойне – это он сам. Оказывается, это он отчего-то интересен неведомым жутким людям. Сообразил, и истово возблагодарил собственную пьяную лень, сподобившую его уснуть под кучей неприглядного хлама.

А ржавый молчун внезапно сказал, не переставая сопеть:

– Тут пахнет еще одним человеком. Пот. Чах на волосах. Как ты, но не ты – молодше.

Он явно собирался сказать что-то еще, но его сотоварищ внезапно выпростал ладонь из широкого рукава и резко взмахнул ею, словно бы комара отгонял.

Хвала богам, рука оказалась вполне нормальной. Волосатая, жилистая, не шибко чистая... Рука как рука, в общем. Вот только ногти ржавый давненько не подрезал, но уж это его заботы.

Да, рука, как рука. А Жежень уж готовился увидеть невесть что – особенно после блеснувших под клобуком огоньков.

Чаруса тоже заметил эти огоньки, и, наверное, не только их. Во всяком случае, он вдруг захлебнулся вдохом и шарахнулся подальше от ржавых. Впрочем, шараханье это не удалось – златокузнец наткнулся спиной на горн.

Несколько мгновений над замершими людьми висела, будто молот над наковальней, тяжелая тишина. Потом Чаруса промямлил:

– Он... он же здесь часто... трудится же он тут со мною... Не диво, что все им пропахло. Но... Разве... – старик вытянул перед собой горящую плошку, словно бы пытался отгородиться светом от своих гостей. – Разве дано человекум унюхивать этак вот, по-собачьи?!

Первый из ржавых вновь опустил руку.

– Мой содруг не унюхивал. Он сказал иначе... Нет, это плохо. "Иносказательные" – есть такое слово? Когда говорят одно, а подразумевают другое?

Чаруса судорожно сглотнул, покивал: да, мол, есть такое. Вернее – почти такое словечко есть.

– Вот и добро, – речь ржавого была монотонной и ровной, как шум бесконечного дождя там, снаружи. – Теперь давай к самому делу. Времени уже трачено много, а возворотить его не дано даже тем, которым дано остальное все...

Ржавый как-то неловко присел (спина, что ль, хворая – плохо гнется?), завозился с лежащим на полу объемистым свертком. Жежень вообразил сгоряча, будто бы свертка этого мгновенья назад не было. Но нет, просто внимание парня с первого же мига так и прилепилось к жутким фигурам, а потому кроме них он мало что замечал. Ведь объявился сверток ниоткуда и вдруг, Чаруса бы непременно сомлел сперепугу: ему-то, старику, это ж не во сне видится, а как бы по правде... Но он ничего, вроде бы расхрабрился даже.

Да, старый златокузнец впрямь понемногу набирался отваги. Пользуясь тем, что один из ржавых занят, а второй за этим занятием внимательно следит, Чаруса придвинулся к своим гостям и пониже опустил руку с чадно горящей плошкой. Вроде бы ничего, кроме обычной любезности: подсветил человеку, чтоб тому не на ощупь возиться со сверточными завязками. И при этом лишь по чистой-чистой случайности блики трескучего огонька плеснули прямо в лицо второго ржавого гостя.

Жежень не сумел разглядеть то, что на краткое мгновенье открылось его хозяину под низко надвинутым колпаком стоящего. Зато парень видел, как вдруг смертно побледнел Чаруса; как он, едва не выронив светоч, шарахнулся прочь и снова вжался спиной в горн.

А сидевший на корточках приподнял голову и выговорил неторопливо:

– Сказывают, будто здесьняя птица клест в старобывшие времена имела долгий-предолгий нос. И совала его куда ни попади. Доразумел?

Чаруса истово закивал.

Ржавый медленно выпрямился, протягивая старику вынутую из свертка тусклую черную глыбу размером поболее людской головы. Неведомый человек держал ее легко, едва ли не кончиками пальцев. Но когда Чаруса попытался свободной от светоча рукой принять подносимое, глыба едва не вывернула ему ладонь и тяжело обрушилась на пол. Златокузнец, спасая ноги, отскочил в сторону; огонек плошки заметался; шарахнулись вдоль стен огромные черные тени...

С неприятным смешком – будто жженые черепки просыпались – ржавый обернулся к молчаливому сотоварищу:

– Дай!

Тот слегка отворотился, как это делают бабы, доставая что-либо из-за пазухи при чужих, и Жежень, взглядевшись, закусил губу.

Откуда-то из складок широченного одеяния жуткий Чарусин гость выдостал лошадиный череп. Боги, да будь это самое одеянье каким угодно широким, такая громадная ноша обязательно бы угадывалась под ним! Так как же?!

В свете площадки кость казалась желтой да ветхой; даже из Жеженева укрытия отчетливо различалась избороздившая ее паутина трещин да трещинок. И еще парень разглядел вырезанный между пустыми глазницами знак... нет, знаки – вроде бы никогда прежде не виданные, однако пробудившие смутные воспоминания о Векше и о творимых ею ведовских вязаньях-наузах. Впрочем, воспоминания эти мгновенно сгнули, когда Жежень, обмирая, понял, что знаки светятся... это если мерцающую черноту можно назвать светом.

А ржавый говорил – бесстрастно, вроде бы даже нехотя:

– Сделаешь совсем такой же. Во всем такой же. Пустой внутри. С этим, – длинный грязноватый ноготь чиркнул по знакам. – Мы возвратимся через десять ден. Не окажется все готовым – нам станет очень плохо. Так что коли не считаешь себя возможным успеть – скажи сразу. Станем выискать другого, хотя лучше тебя здесь нет. Ну?

Чаруса вздохнул, потеревил всклоченную бородку.

– Трудновато будет поспеть, – вымолвил он, искоса взглядывая на ржавых. – Разве только ежели из олова...

– Делать надо из этого, – когтистый палец указал на валяющуюся под Чарусиными ногами темную глыбу.

– Э, мил-человек, этак дело вовсе не сладится! – затряс головой Чаруса. – Я-то этого вашего сроду не видывал. Отколь мне знать все его мудрости да причуды? Я ведь больше по злату, серебру да меди, а с вашим этим... Без опыту, без сноровки, всего лишь за десять ден...

– Это золото, – сказал ржавый, и, видя, что старик вот-вот разразится чем-нибудь вроде: "Будет врать-то! Я ли на своем веку злата не навидался?!" – поспешил упредить:

– Кроме видимости – во всем, как золото.

– Да? – Чаруса с мучительным недоверием оглядел загадочный слиток, скребанул в затылке и резко повернулся к своим гостям:

– Ладно. Чего и сколько дадите?

– Много, – тут же ответил не разобрать который из ржавых. – Золота дадим столько, сколько дадено для работы.

– Такого? – скривился старик.

– Нет. Вашего. Желтого.

Чаруса еще раз поскреб затылок, тяжело вздохнул и вымолвил наконец:

– Шестой десяток годов доживаю, а так и не выучился отказывать добрым людям – даже коли работа получается себе же в ущерб. Лешак с вами, уговорили. По рукам!

Однако же вправду бить по рукам со своими гостями он желанья не проявил. Гости, впрочем, тоже.

– Гляди только, – предупредил тот из ржавых, что держал череп. – Сам сработай, не поручай своему... которому всегда поручаешь... Наша надобность – ты. А обманешь, – он придвинулся чуть ближе, вздохнул. – Обманешь – плохо станет. ТЕБЕ станет плохо. Поразумел?

Он говорил негромко, печально да ласково, только от ласковости этой Чаруса пополотнел – так, что даже при желтом дрожащем свете площадки стало заметно.

2

Бывают лица, которые приятны для глаз лишь когда исковерканы животным ужасом – чем животнее, тем приятней. И для получения такого приятства можно решиться на что угодно. Например, пустить красным рябчиком все это их растреклятое Прибережье, отвратным месивом расплескавшееся вдоль вечно мутной и вечно серой реки – все эти подворья, бездворные избенки, причальные мостки, выволоченные на берег рыбацьи челны и дальноплавные озерные лоды, кузни да смолокурни, коптильни, какие-то навесы, крытые травой клуни, на чем попало распяленные рыбацкие сети...

Чтоб здешние извечные стуки (дерева о дерево, железа о дерево, железа о железо и леший знает чего обо что еще), и рвущие душу скрипы невесть чего, и визгливые бабьи перебранки через три-четыре двора (а то и с противоположным берегом), и безмозглые песни гребцов, и еще более безмозглые распевные вопли тянущих что-то куда-то зачем-то – чтоб все это сожрал насытый рев ярого пламени...

Чтоб извечную здешнюю невообразимую вонь гнилой застойной воды, гнилых рыбьих кишок, гнилой тины, жирной дегтярной копоти, едкой ржавчины кузнечных дымов – чтоб все это перешибла чистая горечь вихрящегося седого пепла...

...Стонет, прогибается под уверенно шагающими сапогами гнилое мощение-горбылье; справа, хрустя и плача, проваливаются в бешенство ослепительного жара плетни, срубы, кровли; слева шкваркотливые огоньки любопытными крысами шныряют-толкаются по обугленным лодейным ребрам, по черным объедкам недогоревших сетей... А перепуганный творящейся жутью ветер заполошно мечется, то и дело сбрасывая в щель меж двумя пожарами черно-сизое беспроглядье, и оттуда, из текучего дымного марева нет-нет, да и наскочит безумная от ужаса двуногая тварь – выряченные, надъеденные гарью глаза, запекшийся рот безобразно разодран истошным воплем... Короткий взмах, вспышка кровавого отсвета на чистом изморозном железе, тупой хряск удара коротко отдается в кисть, локоть, плечо – и о твои веки да губы разбиваются вязкие соленые капли. Спокойный шаг через дергающееся, хрипящее; еще шаг, еще – и все повторяется. Хорошо! Ей-ей – хорошо!

А то, ради чего и затеяно-то все это – затеяно нарочно с дальнего конца клятого Прибережья, чтобы душа подольше тешилась вызревaniem последней наисладчайшей сладости...

Вот оно, вот.

Сюда еще толком не добрался огонь; еще цел трухлявый плетень, еще только две-три струйки белесого дыма курятся там, где упали на гнилую стреху раскаленные угли, выплунутые с соседнего подворья-кострища...

С жалким щенячьим визгом распаивается дверь кособокой избенки, и на крыльцо выбегает он. Босой. Без штанов. Паскудник... Коротенькие ножки колесом, ладони вровень с коленями болтаются, бороденка торчком, бурые да жесткие (словно кабанья шерсть) патлы всколочены – как всегда; и как всегда же рубаха изодрана-измарана, будто нарочно...

Да, пожар еще лишь подбирается сюда, но ужас перед яростным этим бедствием уже здесь...

Хотя нет, это еще не ужас.

Подлинный ужас искореживает зверью личину растреклятого склочника, когда пинок твоего сапога проваливает плетень внутрь замусоренного двора, когда острие измаранного красным клинка – твоего клинка! – хищно выцеливает волосатую Горютину глотку...

Шаг за шагом – ты надвигаешься, он отступает, запинаясь о какую-то дрянь, смаху садится в вонючую лужу, каких у него на дворе полно... Сучит ножонками, пытается отползти, но твой клинок догоняет его, упирается в ходуном ходящий кадык, медленно (конечно же очень медленно – так сладостней) начинает вдавливать в грязную шею... Пуще прежнего

коверкается рожа дорогого тестюшки, закатываются его свинячьи глазенки, но из мохнатой пасти вместо мольб, хрипа и прочего вдруг рвется привычно-злое:

– Ну что ты творишь, дурило?! Как сунешь, куда?! Вот же подарили боги приймака: руки повырастали не из того места да не теми концами, вместо головы – пень моховитый...

Все, выплюнули Кудеслава лазоревые мечты, вернули мечтателя в постылую действительность – на мокрую вонючую кровлю той самой кособокой избенки, воображаемым изничтоженьем хозяина коей Мечник так сладко тешился.

А тестюшка, по горсти бы ему репяхов в штаны сзади и спереди, все распалается, все брызжет слюнями:

– Слыхивал я, будто вы, вятские, в медвежьих берлогах живете – слыхивал, да, признаться, не верил. А теперь гляжу – зря не верил, зря. Ты и впрямь, поди, отродясь справного людского жилья не видал! – Горюта перевел дух, грязной пятерней растер пот и дождевую влагу по раскрасневшемуся от крика лицу.

Мечник искоса зыркнул на Векшина родителя. Никак, выговорился? Что ж этак-то скоро – не захворал ли? Нет, хвала богам, здоровехонек: сызнава начинает:

– Ну скажи мне, ты, лешак вятской, на что ты годишься? Жрать да спать – вот и все твои умения. Ну, с бабами еще... Так и то: Векша вон сколько при тебе, а по сию пору не брюхатая. И эта штука у тебя, значит, не оттоль да не тем концом... Ох же и низкий поклон доченьке любимой, ох же и услужила родителю – этакое страшило чашобное привела! Лучше бы уж с настоящим ведмедём возвратилась – у того по крайности хоть шкура богатая. А с тебя какой прок?! Борода твоя уже с сединою, а ум жеребачий! Ну, чего вылупился, как свин на сало?! Подвинься, ты, недоладный! Смотри да научайся мужичьей работе!

Кудеслав отодвинулся. Смотреть да научиться он, конечно, не стал. Он повернулся к Горюте спиной и уселся на самом краю обветшалой камышовой кровли. Хочет тестюшка сам поработать – пускай его. Времени только жаль, ведь наверняка придется переделывать...

На душе было муторно, и день тоже выдался муторный, ненастный, унылый. С мохнатого неба сеялась какая-то погань – не дождь, не туман, а что-то третье; стылый ветер насквозь пронизывал отсыревшую кожаную мечникову одежду; в плаксивой серости, подменившей собою небо, Хорсов лик еле угадывался холодным блеклым пятном...

С кровли Горютиной избы даже сквозь моросную муть хорошо было видно близкие и неблизкие окрестности, а только зрелище это лишь добавляло тоски.

Причина тому крылась вовсе не в хмуром холодном дожде. Кудеслава при любой погоде равно мутило и от самих здешних мест, и от их обитателей.

И все-то здесь безалаберно; все лишено разумности и порядка...

Вот хотя бы эта река... Даже в самые ясные спокойные дни опрокинувшаяся в речную гладь синева словно бы марается там.

Эту реку даже живущие здесь люди сходного с вятским языка зовут по-разному: Гостинец-батюшка, или Мутная, или еще иначе... Так-то вот: имени настоящего – и то нет у нее...

Наверное, беда здешних жителей в том, что ходит через них слишком уж много проезжего разноязыкого люда: из полных краев и во греци, и в хазарские да персидские земли по езженным-переезженным купеческим путям, которым развилка Ильмень-озеро, а стрежень-ствол – Гостинец, он же Мутная дорога-река.

Вот из-за привычки к обилию всякоплеменных проезжих гостей ильменцы, похоже, и растеряли понятие о смысле, обозначенном словами "общность" и "род".

И беспечность здешних людей отсюда же.

Взять хоть их Старый Град... Что частокол куда ниже да плоше любого вятского – то бы еще половина горя, будь он – частокол – хотя бы вокруг всего града ставлен. Так ведь нет! Лишь с трех сторон обнесено тыном скомканное градской теснотой человеческое жилье. А с четвертой оплот рода-племени защищен оврагом... То есть "защищен" – это громковато сказано. Может,

когда град только зачинался, овраг и был сносной защитой. Может, овраг даже теперь остался бы защитой, если бы градские обитатели подправляли его или хоть не валили на дно всяческий сор. Да уж где там... Похоже, еще год-два, и через этот самый овраг не то что пешком – телегой можно будет перебраться без особых хлопот.

Один вид градской внутренности, бесстыдно выпятившейся на обозрение (ну прямо как срамное место сквозь прореху в штанах!) приводил Кудеслава в отчаяние.

Даже в самой что ни на есть глухой глухомани, откуда до ближайшего людского жилья десятки дён пути – и то не годится обустроиваться с этакой глупой беспечностью. А уж тут...

Ну, допустим, гостей здешним обитателям все-таки можно не опасаться (дурню ясно: учини местным серьезную обиду, и выгодный путь по Мутной тебе навсегда заказан).

Но вот соседи...

Вовсе не далеко от Старого стоит Новый Град. Хоть и такого же языка, а все-таки другой род. Ладно, положим, у тех градская огорожа еще никчемней, и вроде как братья они (хоть бывает, что братья-то и чублятся куда злее, чем вовсе даже чужие). Но немногим дальше укоренился град ямцев, которые языком и обличем смахивают на мордву. А уж каково может обернуться соседство с мордвой – это Мечнику хорошо ведомо.

Неужто здешних людей жизнь ничему такому еще не учила? Или приильменцы не памятливы на уроки?

Кстати сказать, иноязычные соседки о защищенности жилья радеют заметно больше словенских общин. Ямского-то града Мечник не видал ни теперь, ни прежде (град ями в сороне и от реки, и от сухоходной тропы, которая вывела сюда Кудеслава с Векшей). Но вон там, вдалеке, непомерной величины проеденным зубом торчит из речного берега свейская крепостца. Крепкий высокий тын с выложенной камнем подошвой, да на высоченьком холме, да в речной излуине... Не то, что к самой крепостце – к причалу свейскому и к тому клаптю илистой прибережной земли, который свеи распахали, подобраться можно лишь с немалым трудом.

А ведь они, свеи-то, не для худого дела здесь угнездились – для торговли. Меха скупают, иные достатки тутошней земли; а каждое лето приплывают к ним скандийские лоды: привозят новые товары для мены и забирают купленное.

Да, занятя-помыслы у этих свеев мирные, но разумение правильное: при крепких стенах и мир крепкого крепче.

А от самой свейской излуины (это получается напротив Старого Града, к которому с берега около полуверсты ходу в гору) и до самого Нового, что давно выпер из своей огорожи и дополз до речной воды – ну прямо тебе перестоялая квашня из рассевшейся корчаги... Так вот, до самой этой квашни тянется другая квашня: Прибережье. Жилье да хозяйства рыболовов, ремесленного и торгового люда из старгородской, новоградской, ямской общин; извергов; доброхотных отщепенцев; на долгие годы загостевавшихся иноязыких гостей... Разве тут можно понять, кто какого обычая держится, кто какому из родовых старейшин послушен и послушен ли вообще хоть кто-то кому-нибудь?

А выше по берегу аж до ямского града тянутся владения землепашцев – там хоть и просторней, нежели близ самой реки, но тоже перетесались меж собой изверги, самочинцы и общинники всех трех племен...

А земля? Ох-хо-хо, и на землю-то она не похожа. Исцарапана сохами; истоптана, обьедена да загажена скотом... Редко-редко где истомившийся по чашобному буйству вятской взор зацепится за дерево или куст, а только и от той редкости одно огорчение, потому что кусты да деревья здесь хворые, умученные, полумертвые. Выйдя спозаранок безродышным скорым шагом, лишь к полуночи доберешься до настоящего крепкого леса.

Нечего сказать, благодатные места.

Радостные.

Одно слово: Междуградь, перетак его...

Да что в самом-то деле взять с людей, которые в этаким месте живут, которым даже после смерти-судьбины не дожидаться порядка?! Вон оно, кладовище их, вокруг Идолова Холма да на самом холме... Это как если бы в один град собрать степные войлочные шатры, персидские камяницы, вятские избы, барсучьи норы, медвежьи берлоги да птичьи гнезда (чтоб вперемишку все) – вот такой же и здешний Навий Град.

Понять-то можно.

Всякого-разного люда здесь перебивало несметно – еще, поди, со времен того, сказывают, вовсе дикого народа, которым ставлено на холме каменное подобие Велеса. Опять же, проезжие... Известно, дальний тяготный путь не всякому по здоровью да силам – иные из гостевых людей дорогою отходили к Навым. И сородичи, опасаясь разорения последнего прибежища умерших (ведь снаряжая человека к предкам для него не жалеют ни оружия, ни прикрас, ни разного прочего, на которое могут найтись охотники среди живых), всеми правдами и неправдами норовили упокоивать их близ святыни местных обитателей. Под Велесовой охороной, стал-быть.

Да, понять это можно, а только все равно глаза бы Мечниковы не глядели на здешнее безладное кладовище.

Как-то не по-людски, когда этак вот.

Не правильно.

Эх-хе-хе...

Кудеслав зажмурился и потряс головой, пытаясь отогнать досадные мысли.

Наверное, все же несправедлив он к здешним местам.

Вот когда он проплывал здесь в бытность свою урманским дружинником – не казались же ему тогда эти края и люди в чем-то уж очень отличными от иных виданных краев и людей! То есть отличий-то можно было бы выискать множество, но вовсе не виделись они в одном только черном свете. К примеру, в скандийском Эглефиорде рыбьими потрохами воняло не слабее, чем тут... Да и в родимом граде, бывало, отнюдь не вешними цветами попахивало...

Что же теперь этак раздражает тебя, ты, приймак сварливого отщепенца?

То, что одна только Векша кличет тебя по-прежнему Кудеславом да Мечником? То, что ты стал приймаком? А разве в своей родимой общине ты был кем-то другим? Там тебя за глаза прозывали Урманом, здесь – в глаза – Вятчем... Велика ль разница? И что тебе за дело до этой разницы, если сам же ты не способен выразить ее не только в словах – в мыслях даже?

Неужели приятнее быть чужим в собственном роду да в отцовой избе, нежели чужим же оказаться в невесть каких краях?

Да, ты, зрелый... ладно, что там себя самого обманывать – уже подстарковатый мужик, по-прежнему не имеешь своего угла, хозяйства, достатка...

Но ведь по-прежнему же!

Ведь ты ничего не потерял, и теперь, в отличие от прежней твоей обездоленности, у тебя есть Векша... И боги не ухитили твою воинскую сноровку, хоть в здешних местах она, похоже, без надобности...

Без надобности...

Эге, не в этом ли дело?

Не видимой ли мирностью своею постылы тебе приильменские грады да Междуградь? Не тем ли, что единственное уменье твое, в котором мало встречалось тебе равных и лучших, здесь именно что без надобности?

И, значит, прав сварливец Горюта, обзывая тебя никчемным да недоладным – прав, хоть наверняка сам не способен уразуметь, в чем именно его правота...

Э, брось! Такие помыслы всего лишь род хворости, возвращенной затяжным осенним ненастьем. Да только ли ненастьем? И только ль осенним?

Он попытался вспомнить, когда в последний раз был по-настоящему счастлив. Пожалуй, только в самом-самом начале пути из вятских угодий сюда, когда позади уже осталось все – уговоры, упреки; глаза Белоконя, в которых дико мешались виноватость и откровенная злая издевка; вынимающее душу прощание с названным отцом, с очагом родительским...

Беда лишь, что вызревало-то оно, счастье тогдашнее, долго, а стинуло враз – умелькнуло в лесную глыбь, на прощанье чиркнув по кудеславовой шее жалом белоперой стрелы.

Конечно, Мечник не выискал доказательств, что это именно Белоконь пытался его убить. Да, доказательств не было. Но и сомнений не было тоже.

И что оставалось тогда им с Векшей делать?

Прятать следы не имело смысла: враг-то знал, куда они отправились! Гоняться по лесу за волхвом-кудесником? Еще того бессмысленнее, и вообще невозможно: ильменку ведь и за собой не поволочешь, и без присмотра да охороны ее ни на миг покинуть нельзя при таких-то делах...

Оставалось одно: быстрота. Конечно, со сторгованными у изверга Ждана пузатыми коротконожками (один из которых, в добавок, подранен) вполне мог бы тягаться выносливый да умелый ходок; а уж если засадщик где-нибудь поблизости прятал для себя лошадь...

Но не мог же Мечник не предпринять вообще ничего!

Весь тот день он продержал коней в четвертьшаге от грани между “гнать” и “загнать”; на привал решил уже без малого в полночь, а поднял Векшу еще до света...

Ближе к следующему полудню они пересекли длинный да широкий болотистый лог – плоскодонный, безлесый, лишь кое-где встопорщенный щетинками чаморошных прозрачных осинников. Место было удобное (ни пешему, ни, тем более, конному такое не пройти незаметно), и Кудеслав решил пустить ильменку дальше одну, наказав торопиться изо всех оставшихся сил. Сам он затаился чуть в стороне от тропы, на песчаном холме, почти всю вершину которого сграбастала уластым своим корневищем вековая сосна-громадина.

Прямая, как мечевой рубец, болотина просматривалась из этой скрадки на две-три версты хоть вправо, хоть влево. Время шло; Хорс-светодаритель уже переваливал середку извечного своего дневного пути; вздыхал-пофыркивал мечников конь, припутанный в кустах на невидном с лога холмьяном склоне; внизу, между осинок-прутиков, бродили почти неразличимые в осоке кулики-шилоносы – угадывалось это брожение лишь по взмывающим облачкам потревоженного комарья...

Потом за логом качнулись кусты, мелькнуло что-то темное, крупное... еще раз мелькнуло... и еще раз – ближе, явственней... Кудеслав напрягся, но через миг вновь обмяк, ругнувшись с досады: на болотину выбрел кряжистый бородатый лось. Выбрел, замер на полушаге, заозирался... Ишь, матерущий какой! Одинец, что ли? Нет. Качание кустов не прекращалось, из лесу появилась лосиха, вторая; следом – нескладный крохотный сеголеток... Малыш было побрел к матерому своему родителю (небось, хотел помочь тому всматриваться в окрестности), однако на ходу вздумал почесать головенку задним копытцем и, естественно, упал, смешно забарахтался, засучил ножонками... Одна из лосих тут же сунулась вылизывать-утешать...

Вот так. Будь на противоположном склоне человек, лоси бы не вели себя так вольготно. Уж во всяком случае, не вылезли бы пастись на открытое. Особенно та, с детенышем.

Для успокоения совести Кудеслав решил еще и на сосну влезть. Между прочим, стоило ему подняться и начать отряхивать с одежды палую хвою, как лось-предводитель неспешно развернул в его сторону горбоносую морду. Завидую этой зверье приметливости, Мечник обошел кругом неохватный замшелый ствол, высмотрел сподручный сук, подпрыгнул, ухватился...

Лоси, убедившись в людском присутствии на не шибко-то близком холме, вроде бы особой тревоги не выказали, однако же с луга убрели, втянулись обратно в лес. Что ж, град близок, зверье привыкло не ждать от людей добра. А и тем более значит, никого по их сторону лога нет.

С сосны обзор получился вовсе почти бескрайним, а только Мечник опять не обнаружил ничего для себя важного. Либо преследователь чересчур от преследуемых отстал, либо знал он кудеславовы повадки не хуже самого Кудеслава и ударился в очень уж далекий обход возможной скрадки, либо...

Либо преследования нет, и это как бы не еще хуже: самый опасный из ворогов тот, который ведет себя непонятно.

Дальше ждать Мечник не решился: Векша и без того слишком долго оставалась одна. А чаща – она, конечно, матушка, но матушки норовом тоже разны бывают. В ней, в чаще-то, волхвы – опасность не единственная. И не самая смертная.

Ильменку он нагнал гораздо скорее, чем рассчитывал. Нет-нет, Векша честно исполняла наказ про “торопиться, сколько достанет сил”, просто сил этих самых у ее коня оставалась уже малая чуточка. А у самой Векши – и того меньше.

Мечникова приближения наузница не расслышала, потому что спала в седле. Когда же он, нагоняя, окликнул, ильменка встрепенулась спросонок и упала, неслабо, верно, ударившись о лесную малотравную землю. Глядя, как она поднимается, всхныкивая сквозь зубы, как, едва ли не руками переставляя раскоряченные ноги, косолапит вслед понуро бредущему коню (умученная скотина, кажется, не заметила отсутствия седока), Мечник ужаснулся и решил немедленно становиться на отдых. Кой будет прок спасти Векшу от преследователя (который еще неизвестно, есть ли вообще), ежели спасение это самое ее до смерти уморит?

За все время их полупути, полубегства Векша ни слова не вымолвила – лишь кивала истово-торопливо в ответ на немногословные приказы. Вот так же, молчком, отчаянно (и безуспешно) стараясь не плакать от боли-усталости, она сунулась было развьючивать своего коня. А когда Кудеслав от этого дела ее отладил, ильменка-наузница осела наземь прямо там, где стояла, чуть ли не под копыта конские. И уснула. Кажется, еще оседаючи.

Во сне она то причмокивала, то обиженно-жалко шмыгала носом, то принималась громко, надрывно стонать... Но так ни разу и не приоткрыла глаза, пока Мечник отгаскивал ее от расседланных, припнутых на полянке коней (коней-то все едино толком не спрячешь, так пускай себе на виду, а хозяева конские подальше, в кустах отдохнут – глядишь, в случае чего выгадается спасительный миг). И пока Мечник на скорую руку обустроивал потаенную спальную берлогу, Векша тоже ни разу не шевельнулась – как он привалил ее спиной к древесному подножью, так и сидела, свесив на грудь замурзанный подбородок.

Потом Кудеслав достал из небогатых своих припасцев перетопленный на травах барсучий жир, сдернул с ильменки сапоги да штаны и принялся втирать ей целебное снадобье в места, до крови рассаженные седлом, стремянами... Вот тут-то Векша слабо затрепыхалась, только не понять было, вырывается ли она, помогать ли норовит... А может, вообще взбрело наузнице-чаровнице, будто это Кудеслав нашел самое что ни на есть удачное время укрепиться в мужеских правах – и опять же не понятно, хотела она вырываться или самоотверженно помогать...

Потом Мечник осторожно уместил Векшу на заготовленный им в берложке ворох палой листвы, накрыл ее полушубком. Ильменка тут же скорчилась, замычала сердито сквозь сон, тщетно пытаясь натянуть куцеватую одежду и на плечи себе, и на пятки; расхныкалась совсем уже в голос... Кудеслав сунулся было расплетать путаницу обсмыканого косульего меха, голых отлягивающихся ног, прочего, и вдруг...

Вдруг...

Будто бы невыносимая тяжесть какая-то обвалилась ему на затылок, и прошлогодние серые листья подшвырнуло, задергало перед глазами суетливым ошмтьём жадной ослепительной черноты...

Нет.

Они не были ни черными, ни серыми, эти листья. И мертвыми они не были.

Моталась-кланялась на гудливом ветру пышная кустарничья зелень; и оттуда, из-за мотания этого, тянулась к оцепенелому Кудеславу-Мечнику смутная, то белой, то ржаво-рудой мнящаяся человекоподобная тень – почти до бесформенности затертая листьям мельтешением, но с руками немислимо длинными, жадными, хваткими... Они уже совсем близко, узловатые эти ногтистые пятерни, они уже вот-вот дотянутся, вкогтятся, поволокут к тому, смутному, у которого вдруг вспыхнули на безлицем лице огненные точки зверьих нессытых глаз...

Ни на миг не помешав видеть все это мелькнули словно бы перед вторым каким-то зрением Мечника другие лица: Огнелюба Звана и странного незнакомого дряхлеца, мелкорослого, снежнобородого, с подвешенным к оголовью медвежьим когтем... Тревожные лица, требовательные, будто силиящиеся без слов напомнить о чем-то...

И Кудеслав вспомнил.

Вспомнил про стиснутый в правой своей ладони железный опеньок. И вскинулся в широком размахе, метя отточенной хищной сталью по тянущимся хищным рукам...

Удар сорвался. Неудачный зачаток рукояти провернулся в судорожной кудеславовой хватке, и клинок лишь едва задел когтистые пальцы – плашмя задел, вскользь. Но руки мгновенно отдернулись; раздвинутые ими ветви, облегченно сомкнувшись, занавесили собой огнеглазый призрак... И кто-то вдруг сказал – хрипло, рыкливо (так бы, наверное, говорил обучившийся людской речи волк):

– Оставь его.

А потом еще сказал, тише, глуше:

– Тебе не совладать.

Только тут Мечник начал подозревать, что голос этот говорит не для него.

– Пусть уходит, – порывивало совсем уже еле слышно за очнувшимся ветряным гудом. – Пусть уходит к нам. Пусть. Мы сами.

Успокаивалась, обвисала перед Мечником листовенная чистая зелень... Нет, не “перед”, а “над”. Потому что Мечник лежал на спине в той самой берложке, которую соорудил для Векши.

А Векша, оказывается, не спала. Приподнявшись на локте, ильменка пристально всматривалась в запрокинутое лицо Кудеслава. Тот подхватился растерянно и смущенно. Ишь ведь, сморило... Да еще жуть эдакая наснилась, да еще же небось и кричал во сне – даром, что ли, Векша перепугана? Совсем ты, Кудеславе, обабился... Всего-то и выпало спешной (но даже ж и не вовсе безродышной) езды, что дважды по полдня да меж ними ночь – и вот, изволь радоваться... Словно бы ты уже и не воин; словно бы это не ты еще только вчера сумел угадать стрелу по мелькнувшему в клинке отраженью... Хотя... Если вдуматься, такая угадливость даже для умелейшего воина через край. Да и от второй вчерашней стрелы не слишком ли ты легко увернулся? Оно бы не диво, будь лучник у тебя на виду и хоть раза в полтора дальше. А так... А так выходит, внезапная нынешняя твоя сонливость ничуть не страннее вчерашней ловкости...

Но нет, не удалось Кудеславу толком задуматься надо всеми этими странностями. Тревожные мысли внезапно вышиб из его головы тихий ильменкин вопрос:

– Почему ты меня не побил?

Мечник вытаращился.

Векша вздохнула, завозила ногами под полушубком, усаживаясь. И пояснила:

– За то, что я вчера... Это... Наговорила... А?

Вопреки своей обычной повадке она не отворачивалась, она храбро пыталась смотреть Кудеславу в глаза, пока тот, нарочито кряхтя, поднимался. Лишь когда Мечник встал на колени, размахнулся, будто матерого кабана убить намеряючись, вздохнул: “Да, нужно-таки побить”, – лишь тогда ильменка зажмурилась, втянула голову в плечи... И получила легонький щелчок в нос.

На том все и кончилось.

Неведомый (ох, неведомый ли?) стрелок больше ни разу не дал о себе знать. И вообще никаких особых неприятностей дорогой не приключилось – словно бы вывели ее, дорогу-то, перед Кудеславом и Векшей. До самого Приильменя вывели – и от людских каверз, и от тех, коими любит потчевать чад своих дебрь-матушка... которая матушка да прокормилица отнюдь не одним только людям... и из людей не лишь вятскому их корню...

Но хмельное чувство отмытости души, с которым Кудеслав Мечник выезжал с белокопева дворища, больше не возвратилось. Его, чувство это, убило нелепое векшино подозрение. Ведь подозрения – они, как иная хворь, горазды перекидываться с заболевшего на здоровых. И виною тому были даже не вздорные ильменкины слова про какого-то умельца, который может дожидаться ее в родимом краю и который не подстарковатому Кудеславу чета. При иных делах Мечник бы и внимания не обратил: мало ли кто чего ляпнет в запале...

Но еще был меч со Звановым наузным заклятьем на добрый путь туда и обратно. И был по-небывалому добрый путь туда... то есть сюда.

И путь обратно, небось, тоже бы сложился по-доброму...

Сложился бы? Или сложится?

"Зван часто заранее ведает, когда что станет надобно"...

Вот и мозжит, мозжит этакой неподживающей ссадинкой: а с чего тебе может взбредти отправляться в обратный путь? И вроде бы много выдумывается всяких догадок, а только все они в конечном итоге сворачивают к одному и тому ж... К возможности одной и той же потери...

Рыжая дурешка испугалась, что тебе суждено разлюбить ее да покинуть? Может, и суждено... Но сам-то ты знаешь: коль и придется бросить ее, то уж точно не из-за оскуденья любви... не из-за оскуденья ТВОЕЙ любви...

...Однако до чего же зябко!

Мечник подышал в кулаки, ссутулился, пытаясь натянуть повыше ворот рубахи. Где там... То есть натянуть повыше – это сколько угодно, хоть на уши. А что проку? Мокрая сырость не удерживала ни капли тепла, она даже от ветра не защищала.

Вот ведь самое подходящее время выбрал тестюшка для починки кровли! Кудеслав с первого взгляда на эту самую кровлю сказал: латать нужно, не выдержит она долгого дождя, протечет. В благодарность за совет пришлось выслушивать вопли о чащевых вятских недоумках, которые смеют поучать старших.

Вообще, за несколько десятков дней, прожитых в Горютиной избе, Мечник успел крепко засомневаться, что этот вздорный мужичонка откололся от общины собственной волей. Вятские вон Чернобая силком вытолкали, а тот просто-таки застенчив да кроток по сравнению с Векшиным батюшкой.

То-то Векша упрашивала – и таки упростила – Кудеслава прикинуться, будто она ему отдана в жены как надлежит, с полным обрядом (на самом-то деле они друг другу только кровную клятву дали – Векша в верности поклялась, а Мечник защитником да кормильцем быть обязался – в общем, не вполне по-людски у них сладилось). Но несмотря на это дочерино вранье, Горюта все равно озлился хуже крысы, которую за хвост дернули. Как, мол, дочка посмела?! Мало что без спросу приволокла в дом лесное страшило, так еще и свадебный обряд осмелилась справить боги-зна-де и без родительского на то соизволения?! Вот интересно, а как бы он представил себе эти спросы-соизволения?

И с чего это Векша так родителя своего любит? За что ей его любить, спрашивается? А ведь кабы не ее дочерняя любовь, Мечник давно б уж здешние семейные неурядицы разрешил не только в мечтах.

Все напрочь Прибережье он бы, конечно, для этого пустошить не стал (неподъемноватая работа для одного); но самого Горюту спровадить в Навьи... плюнуть – и то сложнее.

За склочного спесивца, поди, и виру бы присудили совсем не обременительную – больно уж он всем опротивел. А возможно и вовсе обошлось бы без виры: род не обязан обороною отщепенцам. Впрочем... Коль скоро Горюта до сих пор еще жив, то, поди, ему хватает-таки умишка вне собственного двора попридерживать норов. Зато уж на своих отводит душу, как только хочет...

Во, снова орет. На сей раз сыны ему не угодили. Им обоим было велено стоять внизу, под стеной, подавать родителю камышовые снопики и тоже "научаться работе". Дело у родителя сразу же не заладилось, снопики ложились вкривь да вкось... А кто виноват? Естественно, сыны: не так подают.

Обвиненные и не подумали оправдываться. Они лишь засопели шибче прежнего, изо всех сил стараясь подавать "так". Без толку, конечно. Трудное это дело – угождать человеку, который сам не знает, чего ему надобно.

Хлопнула избяная дверь.

Прохрустели по гниловатым ступеням крыльца торопливые легкие шаги.

Векша.

Мечник не без запинки ее узнал – все не мог привыкнуть к нынешнему Векшину виду (прежде-то она больше в мужеском хаживала). А Горюта никак не может простить Мечнику, что тот нескучно потратился на женину справу (конечно, Векша вполне обошлась бы прежней своей обувкой да простым некрашеным полотном, но Кудеславу уж очень хотелось, чтоб погордилась она новенькими сафьяновыми сапожками, цветным подолом да узорчатым платком). Хотя, возможно, и не в трате крылась причина Горютиного раздражения, а в том, что сам он этаких красных вещей дочери купить не способен. А будь возможность, непременно купил бы. К Векше он относился заметно мягче, нежели к прочим своим домочадцам. То ли впрямь она у него любимица, то ли Горюта все же осознавал провину свою перед дочерью... Если ему вообще доступно такое чувство, как виноватость.

Так, иначе ли, но только его "Куды без спросу? А ну, воротися!" было сказано (именно сказано, не выкрикнуто, что для Горюты уже не мало) совсем по-иному, чем всякие-разные словечки, предназначенные для сынових ушей.

И Векша, которая кому другому в ответ лишь фыркала (матери, например, или братьям), тут послушно остановилась и затеяла объяснять, куда она направляется и ради чего. Ну прямо как если бы Мечник ее окликнул!

Мечник, впрочем, вовсе не собирался ее окликать. Он сразу понял в чем дело, едва только увидел на плече у жены длинный и плоский сверток.

Еще по пути в здешние земли Векша источила Кудеславовы уши посулами, будто здесь, на месте, для даренного Званом меча непременно сладят достойную рукоять, причем запросят за такую работу вовсе не дорого – она (Векша то есть) сама обо всем сговорится.

Кудеславу все это не шибко нравилось. Такие договоры вовсе не бабье дело – это во-вторых. А во-первых, с чего бы вдруг работе подешеветь, ежели заправлять сговором возьмется именно Векша? Тут, пожалуй задумаешься, причем задумаешься невесело... Особенно, помня (а как такое не помнить?) те ее слова про здешнего умельца, который "какими глазами смотрел" и "небось, не забыл". Которого уменье похлестче кудеславова умения убивать людей. Который подстарка Кудеслава получше.

Что-то такое Мечник сразу же сказал вслух. Векша сперва не поняла, а потом, доморгавшись, наконец, до смысла его намеков, таким страшными проклятиями кляла ту давнюю свою вздорность, так упрашивала отрезать ей глупый язык, из ничего вылепивший злобную ложь про собственную хозяйку да непрощаемую обиду Кудеславу... Мечник, естественно, резать ильменкин язык отказался, сказал: "Тебе же молчком не выжить!" – и тогда она попыталась сама... И напросилась-таки на изрядный мужеский тумак.

Больше Кудеслав не решился обижать ее подозрениями. В конце концов, мало ли она делала небабьих дел и, опять же, мало ли чего не скажешь в сердцах. Однако же неприятный осадок прочно улегся ему на душу.

По приезде Векша долго не вспоминала о своем обещании, и Кудеслав подуспокоился. Но вот похоже, что рановато.

Давнее подозренье с новой силой вгрызлось в Мечниково сердце, когда Горюта, толком даже не выслушав дочкины объяснения, вдруг зашелся визгливым хохотом – да так, что едва наземь не сверзился.

– Это... Это ты на Ча... на Чарусином подворье работника искать собралась? – продавилось, наконец, сквозь его смех нечто членораздельное. – Ай, дочка! Ай, молодлица! Сговори, сговори себе у Чарусы работника! Только, слышь, ты уж не очень поздно вернись. А то знаешь, как времечко порою незаметно летит – за уго... уговорами-то... Ой, не могу!

Даже с кровли было видать, как мучительно, до жара и слез покраснела от родительского хохота Векша.

До слез... Только на волю она, конечно же, слезы свои не выпустила. Коротко и неслышно дернув губами (то ли сплюнула, то ли словечко пакостное шепнула) Векша крутнулась на пятках, и будто выдуло ее со двора – лишь красный подол мелькнул да перелаз скрипнул, как вскрикнул.

Несколько мгновений Кудеслав задумчиво поглядывал то на скребущих затылки Горютиных сынов, то на веселящегося тестя. Потом спросил:

– Что еще за Чаруса такой?

Горюта уже не хохотал – он икал и выл от восторга.

Кудеслав терпеливо ждал окончания этого припадка.

И дождался.

– Чаруса! – Векшин родитель с немалым трудом перевел дух, уселся более ли менее прямо и стал утирать ладонями заслезившиеся глаза. – Ты, дурень, Чарусу-старика не опасайся, там куда как моложе сыщется! Ну, чего вырячился, пень буреломный? Ежели у тебя, дубины сорокалетней, хватило ума юницу за себя взять, так уж научайся временами глазенки свои медвежьи зажмуривать да прикидываться непонятливым. Уразумел, что ли? Да ты не сопи, не надывмайся, ровно жаба на угольях! Тебе же, недоладному, лучше выйдет. Ежели ты сам не способный жене дитятю состругать, так уж пускай...

Дальше Мечник не слушал. С горьким тягучим вздохом он осторожно поднялся на ноги и шагнул к тестю, поворачиваясь так, чтобы заслонить того от взглядов переминающихся внизу сыновей.

В самый последний миг Горюта, кажется, все-таки почуял неладное. Во всяком случае, когда Мечник уже придвинулся вплотную и навис над беспечно рассевшимся говоруном, тот вдруг переменялся в лице, смолк и дернулся было: не то вскочить хотел, не то еще что...

Нет, не удалась ему эта попытка.

Почти неуловимым для глаз стремительным и коротким движением левой руки Кудеслав прочно ухватил Горютину бородавку.

Мгновенье-другое обалдевший от неслыханой зятевой дерзости Горюта сидел неподвижно и молча. Лицо его вновь налилось жгучей багровостью – на сей раз вовсе не от веселья. Опомнившись наконец, Векшин родитель трепыхнулся, пытаясь вырваться, и сильно ударил кулаком посягнувшую на украшение его лица руку Мечника. Только и вышло с этого проку, что кулак зашиб – словно бы по дубовому полену ударил.

А Кудеслав надвинулся ближе, чуть повернул стиснутую пятерню, заставив тестя вздернуть подбородок и неестественно выгнуть спину. Горюта распахнул было рот и втянул в грудь побольше воздуха... да так и заляк. Под нарочитой скукой Мечникова лица, под чрезмер-

ным безразличием его прищуренных, сделавшихся почти черными глаз распознавалось нечто такое, от чего уже готовая рвануться на волю брань словно примерзла к Горютиным губам.

Чуть скривив пропитавшиеся дождевой влагой усы, Кудеслав проговорил тихо, но очень внятно:

– Слышь, ты... те-стю-шка... Мне твоя гавкотня уже колом в ушах стоит. Я было решил терпеть ради Векши, а только терпенье-то у меня не железное. И если ты впредь хоть единожды при мне брехало свое вонючее распахнешь... Если ты хоть раз еще вздумаешь корчить из себя невесть что... Ох же тогда и огорчу я дочку твою! Понял?!

Горюта вновь трепыхнулся, просипел, брызжа слюной:

– Ты... У моего очага... Под моею кровлей... Смеешь...

– Смею, тестюшка, смею! – ощерился Кудеслав. – Только не под кровлею, а на ней – это ты, небось, с перепугу напутал где мы да что... А в смелости моей себя вини, пустобреха: довел-таки. Благодарствуй хотя бы на том, что от присных твоих бесчестье твое скрываю... пока. – Он еще крепче стиснул пальцы, запутавшиеся в липких прядях Горютиной бороденки. – Что же до очага, то мне близ твоего огня греться счастье невеликое. Но уж куда приходится нам с тобой рядом жить, ты меня лучше не зли, слышишь?!

При этом "слышишь" он так рванул тестеву бороду, что тот вякнул давленной мышью и зажмурился, ожидая для себя новых неминуемых бед.

Но Мечник тут же отпустил его и распрямился, брезгливо вытирая ладонь об исхлестанные дождливым ветром штаны.

Горюта засучил пятками, отодвигаясь от озверелого зятя; торопливо и не без опаски ощупал подбородок – и так росло на нем редковато, а тут еще проклятый вятской ведмедь кажись выдрал изрядный клочок... совсем лишил мужской красоты... сволочуга...

Кудеслав же, морщась, рассматривал то место на кровле, которое успел "починить" Векшин родитель.

– И ты же еще смеешь других неумехами обзывать! – Мечник попрежнему говорил вполголоса, лишь для тестевых ушей. – А сам ты на что годен? Хозяйство твое в запустении, избенка того и гляди обрушится, семейство кормится не твоею заботой – трудами сынов-рыболовов да вот еще с недавней поры Векшиным наузничеством... От тебя-то какой прок на этом подворье?! – Казалось, будто Мечник не слова произносит, а плюется. – Да ежели ты, к примеру, завтра подохнешь, домочадцам твоим от того немалое облегчение выйдет...

Горюта (которого, кстати, это "завтра подохнешь" пробрало нешуточной дрожью), попытался что-то сказать, но Кудеслав отмахнулся от него, словно от докучливой мухи.

Отмахнулся, а потом оборотил лицо к терпеливо мокнувшим под стеною Векшиным братьям. Ох же и заклевал отщепенец сынов! Ведь работающие, дюжие, сноровистые, а глянешь иной раз на эти угрюмые лица да пустые глаза... Полудурки какие-то, а не мужики. И не женаты оба, хоть старшему, поди, уж под три десятка...

Впрочем, Кудеславу вон крепко ЗА три десятка, а давно ли он сам?..

Ладно, все это мысли вздорные; нынче они не к месту.

Мечник улыбнулся и сказал по-обычному:

– Слышьте, мужики, вы еще чуток поскучайте. Я тут кой-чего подправлю, а потом снова будете вязанки подавать – мне.

– А я что буду?.. – начал было Горюта, но Кудеслав его перебил:

– Ты, тестюшка почтенный, отдохни покуда. А то все сам да сам – намаялся, поди, утруждаешься для нашего блага!

Это было сказано громко и услышано всеми. А вот то, что Мечник добавил после, слышал один Горюта:

– Пшел вон! И чтоб я тебя хоть до завтрашнего утра не видел!

3

Дождь шел девять дней. Он то притихал, то крепнул; то прикидывался оседающим туманом, то злобно хлестал прутьями ливневых струй тусклую мать реки, раскисшую землю и все, что только можно найти на земной и речной поверхности.

Утро десятого дня выдалось неожиданно тихим. Ветер, бывший неразлучным спутником дождя, угомонился, и сам дождь тоже угомонился. А тяжкие плотные тучи словно бы изветшали; их бесконечная угрюмость расселась прорехами ослепительной выполосканной синевы.

Жеженю удалось выбраться с хозяйского подворья лишь когда заметно утомившийся Хорс миновал уже две трети своего дневного пути. Как-то так получилось, что Чаруса вдруг решил вспомнить о существовании своего закупа и прямо спозаранку принялся вымучивать его бесконечным множеством всяческих мелких поручений. Словно бы и впрямь Жежень всего-навсего неумеха-подручный, пригодный лишь на тасканье воды и вздувание горна!

И вот ведь обидно: Чаруса же впрямь будто напрочь позабыл о Жежневом существовании с того самого дня, когда парень окончил работать заказанный ямским головою серебряный светоч, перепил браги у клеевара Гостюхи, обозвал Чарусиху сукой, уснул почему-то в кузне и почему-то зарывшись в кучу всякой всячины, а снилась ему тогда такая жуть, что нет ни малейшего желания даже пытаться вспомнить подробности.

Вот с того-то дня до самого нынешнего утра Чаруса Жеженю слова единого не сказал. Что там слова – при случайных встречах он на своего закупа глядел так, будто тот не человек, а пустое прозрачное место.

А встречи впрямь бывали только случайными.

И нечастыми.

Старик взял за обыкновение уединяться в кузне. Временами из-за плотно притворенной двери раздавались частые удары металла о металл – так могло продолжаться с утра до вечера (а иногда и с вечера до утра); временами через дыру в кровле и сквозь всевозможные щели сочился тяжелый сизый дым – Жежень только диву давался, как старик управляетя водиночку, и как исхитряется не удушить себя, вздувая горн при накрепко затворенных оконницах.

Чаруса обходился без помощи, злобно гнал прочь жену, пытавшуюся носить ему в кухню съестное, а когда изредка выбирался из затворничества, домочадцы шарахались от его мрачного закопченного лица и не по-людски пустого взгляда.

Жежень решил, будто хозяин пытается самолично, даже без намека на чью-либо помощь, сработать что-нибудь ЭТАКОЕ: чтоб, значит, самому себе доказать, что он умелестее своего не по сопливым летам нахального закупа. Только, судя по Чарусиной мрачности, ничего из этой затеи не получалось.

Парень даже не злорадствовал.

Тягаться умелостью с Жеженем для старика безнадежнее, чем моститься присесть к самому себе на колени. И если он – старик – до сей поры безнадежность эту не осознал, то что ж, пускай его тужится. Помогите, боги, змеюке протянуть ноги...

Негаданному своему безделию Жежень сперва обрадовался. Златоумелец Чаруса сделался очень уж славен трудами своего подручного закупа, а потому у этого самого подручного в нынешнем году было работы... Миг коротенький, чтобы пот со лба утереть – и то не вдруг улучишь.

Но прошел день, другой; парень вроде бы отоспался и за былое бессонье, и за еще одно такое же – впрок... На третий день ничегонеделание перестало казаться даром богов, а на четвертый вконец опостылело. Еще и погода такая, что нос из-под кровли не выткнешь... Впору было хоть к Чарусихе набиться помогать по хозяйству, чтобы чем-то руки занять. Но после

давешней ругни Жежень старался как можно реже попадаться на хозяйкины очи, для чего насовсем перебрался в стайню.

Что ж, в конце концов занять руки – это не главное. Куда важнее придумать занятие для дуреющей от безделья головы. Да-да, очень трудно УСПЕТЬ выдумать занятие для дуреющей от безделья головы до того, как она сама найдет, чем заняться.

Жежень не успел.

Интересно, почему шустрее всего на ум лезут самые тоскливые, безрадостные и безысходные раздумья да воспоминания? Хоть прощено, хоть непрощено; хоть даже остатки сил надрываешь, припоминая лучшее из пережитого (припоминая же, не выдумывая!), а вместо этого из каких-то пакостных глубин души поднимается муть, копившаяся там с самых ранних, полужабывшихся уже лет.

Может, вьезшаяся в привычку Жеженева тоска давным-давно перегорела бы до легкого пепла, и развеялся б тот пепел по ветру без следа и остатка... не будь у парня возможности постоянно беречь-растравливать память. А возможность имелась – та самая золотая немцовская водяница, из-за которой Жежень угодил в закупы.

Кой прок шархаться да прятаться от нынешней Вятичи, если прежняя Векша, которую так хочется позабыть, хранится в увесистой замшевой лядунке у тебя на груди?

Ведь именно с Векши лепил Жежень восковую заготовку, по которой потом сработал отливку, заказанную немцом.

...Они забились в густой ракитник над самой водой, и Векша никак не могла усидеть спокойно – то комары да муравьи ее донимали, то вдруг мерещилось, будто кто-то подкрался, подглядывает... Жеженю работалось легко и стремительно, как никогда – почему-то не мешали ему ни Векшина непоседливость, ни предвечерний меркнувший свет, ни мельтешащая по девичьей коже прихотливая путаница теней от тревожимых ветром ракитных листьев. А когда парень окончил разглаживать воск и попробовал огладить нечто более упругое, теплое да желанное, Векша расквасила ему скулу и пустила кровь из носу...

А потом он лежал на спине, блаженно глядел в подпаленное закатом бездонье; забывшая одеться Горютина дочь, низко склоняясь, деловито прикладывала к ссадинам на его лице какие-то разжеванные в кашу листья, и твердые девичьи соски раз за разом касались его расхистанной груди, еще не успевшей толком просохнуть после запойной работы...

А потом почти случилось то, что по сию пору продолжает грезиться в мучительных снах о несбыточной небыли... Наверняка уже должно было это случиться, но тут...

Жежень еще ничего не успел сообразить, как Векша вдруг с писком выбарахталась из-под него и схватила первую подвернувшуюся одежду, торопясь прикрыть ею... нет, не наготу свою, а то, по чему легче всего было бы опознать дочку отщепенца Горюты – лицо да огненно-рыжую расплетенную гриву. И в тот же миг закачались-раздвинулись ветви, выткнулась меж них мрачноватая чернородая рожа и унылый голос спросил:

– Слышите, ребята, тута телушки не пробредали? Пегие они такие, числом их три; у одной еще роги книзу повывернуты, а у другой рогов вовсе нетути...

Зашлый мужичонка долго бы вспоминал всякие-разные приметы пропавшей скотины (морща лоб, для уточнений то и дело окликающая своего покуда невидимого сотоварища), но Жежень, наконец, опамятовал и, зверски оскалась, вскочил на ноги. А потом... Да, уж те-то двое, небось, не смеют болтать, будто бы сын кузнеца Жеженя Старого не умеет драться! Без малого полверсты гнал он мужиков, ошалелых от внезапной свирепости голого тощеватого парня. А когда вернулся – гордый, запыхавшийся – Векши уж след простыл...

И после всего этого нужно было отдать водяницу толстобрюхому немцу?! Да хвост поперек хари ему, свиноголазому!

Только все чаще и чаще Жежень распоследними словами клял себя за то, что решил сохранить Векшину подобье. Оно б еще и нынче не поздно. Отдать, продать, переплавить,

выкинуть в омут... Что угодно сотворить с трижды по трижды проклятой блескушкой, лишь бы освободиться от власти злобного, душу выпивающего ведовства под названием память.

Но вот беда: недоставало Жеженю для такого освобождения ни сил, ни решимости.

Корочун когда-то сказал: "Есть на свете такие люди, для которых счастье – быть безысходно несчастными". Неужели дряхлый хранильник Велесова капища прав? Наверное, да.

...А та, последняя... то есть первая встреча с нынешней, вернувшейся Векшей; встреча, которой так желал и боялся – когда она случилась-таки? Четыре дня назад? Пять?

Жежень сидел тогда в стойне, на куче недоеденной скотиной травы – сидел съезжившись, уткнувшись подбородком в согнутые колени. К телу противно липло измызанное полотно каждодневных штанов да рубахи; нечесанные волосы свешивались на глаза, только он и сквозь эту спутанную темно-русую занавесь видел облитую теплым сиянием крохотную дэвицу, дразнящую тугим выгибом золотого обнаженного тела, насмешливой полуулыбкой, вольным разворотом округлых плеч. Вроде бы сильны они не по-девичьи, и вместе с тем прямо-таки умоляют о крепком защищающем объятии мужеской надежной руки... Не немцовскую водяницу с рыбьей холодной кровью – свою судьбу, собственную недоброй власти богиню сработал Жежень в черный проклятый день.

И когда вдруг с тягучим скрипом распахнулась крепкая дубовая створка (дверь – не дверь, ворота – не ворота), и в полутемную стойню хлынул замешанный на сырости свет безрадостного тусклого дня; когда в открывшийся проем осторожно вступила ОНА – живая, настоящая, из упругой горячей плоти...

Прав, прав был старый волхв с Идолова Холма.

Осознав, кто именно замер в нерешительности на пороге, Жежень обрадовался. Не тому, что это она, настоящая, а тому, что застала она его перед проклятым золотым идолцем.

Застала.

И конечно же с единого взгляда все поняла.

И наверняка пожалела.

Не о выборе своем, как мечталось прежде, как виделось в недавних сладостных снах – нет, она его, Жежю пожалела. А ведь раньше казалось, будто бы чем такое, то лучше б уж во вздутый плавильный горн головою... и самому, и ее...

Векша изо всех сил старалась не глядеть на золотую себя (хоть парень чувствовал, что Горютиной дочери очень-очень хочется взять в руки и как следует рассмотреть, какую она была почти три года тому назад).

Она говорила с ним так, словно не было ничего из того, что было; словно бы сейчас ей удалось не заметить или хоть не понять.

И Жежень почему-то сразу согласился делать рукоять для меча (а ведь и гораздо более глупый дурак вмиг бы догадался, чей это меч).

Согласился, хоть до тех пор даже на ум не пускал соблазн трудиться для кого-нибудь без хозяйского ведома. Чаруса – он, конечно, именно чаруса бездонная, но Жеженева родителя от последствий сыновьей глупости спас... И все-таки Жежень не более чем подручный закуп. Пускай и дана ему воля, о какой прочие помыслить не смеют, но ведь есть той воле и край-предел...

Но вот как-то вдруг позабылось все-все – в том числе и любые края-пределы.

Пока парень обмерял мечевой железный опеньок да прикидывал, сгодится ли для работы принесенный Векшей кусок оленьего рога, та безумолчно разглагольствовала о какой-то совершеннейшей ерунде. А когда Жежень, прокашлявшись, сказал наконец, что он все обмерял и что рог годится, Векша сразу забрала меч и ушла. Сказала только, чтоб Жежень не вздумал отказываться от платы, если не хочет их с Кудеславом смертно обидеть. Да, ушла-то она быстро, но, может, успела все-таки расслышать торопливое Жеженево: "Чарусе заплатишь!"

Работать без хозяйского ведома еще полбеда, но вдобавок еще и самому принять плату... За такое даже Чаруса даже Жеженья не помилует. Вот ведь как была Векша дурешкой, так и в Вятичихах не поумнела: и, вроде, как лучше хочет, а все едино будто нарочно старается подвести бывшего дружка своего под какое-нибудь несчастье... Впрочем, будто ли?..

Парень возился с рукоятью четыре дня – благо, никто не мешал. Это было именно то дело, какого ему хотелось: оно заняло и руки, и голову.

И за делом этим парень твердо решил непременно сходить на Идолов Холм, к Корочуну. Ежели волхв этак мудро понимает человечесью душу, то пускай присоветует что-нибудь дурному сопливому закупу, который по скудоумию и по чрезмерной умелости рук (одно при другом страшней Велесова проклятья) сам себе наделал беды...

И вот именно в тот день, который Жежень выбрал для похода на Идолов Холм, Чаруса вдруг прицепился со своими никчемными порученьями!

Ну да ничего.

Путь к Навьему Гаду недалний, до темна поспеть вполне возможное дело. Заночевать можно будет у Корочуна (что, кстати, Жеженю не впервой), а грядущим утром – назад.

Эти виды на тогдашний вечер Жежень строил, просеивая сквозь дерюжное сито каленый в горне речной песок (не по собственной воле, конечно – по Чарусину велению). Занятие было нудное, а главное – до нельзя пыльное, и потому парень устроился со своей работой во дворе, под стеною кузни.

Он сидел на корточках, опершись спиной о насосавшиеся дождевой влаги старые трещиноватые бревна, тряс сито над объемистой глиняной мисой и от нечего делать раздумывал, зачем Чарусе понадобилось аж столько сеяного песка.

Зачем вообще нужен мелкий каленый песок – это понятно: таким начищают до ярого блеска готовые отливки. Но столько... Однако же немалое что-то сработал хозяин кузни! Чтобы измерить любую из прежних его (да и Жеженевых) работ с лихвою хватило бы одной пяди. А тут...

От внезапного пронзительного писка, раздавшегося над самым ухом, парень выронил сито и чуть не перевернул мису с сеянкой. Испуганно втянув голову в плечи, Жежень оглянулся и тут же, не озаботившись даже понизить голос, в сердцах помянул старого безалаберного дурня, у которого в кузне дверь верещит ошпаренной крысой и который почем зря да не ко времени через эту самую дверь шныряет.

А выскочивший из кузни Чаруса будто и не слышал дерзостей наглого закупа.

Он сыпанул прямо под стену целую грудку чего-то вроде мелко дробленного камня, буркнул Жеженю: "Не спи, поторапливайся!" – и сразу же ушмыгнул обратно.

Жежень, Впрочем, о просеивании песка на время забыл – его заинтересовало выброшенное стариком.

Был это, конечно же, никакой не дробленный камень, а были это осколки литейной формы-вытворницы. Небось, Чаруса в спешке сделал ее неразъемной, цельнокусковой, а из такой готовое изделие не выдостанешь иначе, как расколотив спекшуюся до каменной твердости глину... да только ж не в такие мелкие дребезги! Что же это выходит? Выходит, старик опасается, как бы по вытворнице не распозналась изготовленная отливка? Замечает следы неудачи? А тогда зачем ему сеянка?

Конечно, едва лишь за Чарусой успела захлопнуться дверь, Жежень оказался возле битых остатков. Присев на корточки, он осторожно, кончиками пальцев пошевелил гремучие сероватые осколки – звук получился таким, будто засмеялся кто-то сухо и неприятно... или будто стругнули кучу ветхих костей.

И сразу, толчком как-то осозналось Жеженю, что рубаха, с которой срубные бревна щедро поделились припрятанной ими дождевой сыростью, знобко холодит спину; что выстуженные мокрым бурьяном да склизким суглинком Чарусиною подворья босые ноги зашлись

мучительной ломотой; что Хорс, весь этот суетный день бывший не очень-то щедрым на тепло, теперь и на свет начинает скупиться...

А тучи на западе уже вымарал грязнобурый закат, и вроде бы вновь затевался ветер – исподволь этак, вкрадчиво, раз за разом прохватывая парня муторной дрожью... Или дрожь – это не из-за ветра?

Крепко стиснув в кулаке выхваченный чуть ли не наугад осколок битой Чарусиной вытворницы, Жежень поднялся с корточек. Он уже знал, что сегодня не будет больше подруничать для хозяина, а сей же миг все бросит и пойдет к Корочуну. Пойдет, даже если ради того, чтобы вырваться с хозяйского двора, предстоит насмерть биться со стариком и всеми его домочадцами.

Только у парня теперь не было ни малейшей охоты беседовать с волхвом-хранильником Идолова Холма о своей тоске по Векше Вятичихе – позабыл Жежень про эту беду, еще мгновение-другое назад казавшуюся смертным мучением.

* * *

Вечер падал на мир весомо и плотно – будто чьи-то невидимые непомерные руки складка за складкой роняли с небес мутнопрозрачное покрывало, сотканное из сумерек, брюзгливого моросного дождя и ветра – скучного, отяжелевшего от сырости.

Сызнова дождь. Лишь ночь да неполный день передышки пожаловал он людям от скудных своих щедрот. Ну и хвост ему поперек... поперек... Эко сказанул – разве у дождя харя имеется?

Жежень зло досадовал на поспешность, с которой покинул хозяйский двор. Надо же, совсем обезумел от страха...

Мало ли какая жуть может явиться во хмельном сне! Мало ли какую отливку мог затеять Чаруса! Кто способен перечесть, сколько имеется на свете всячины, похожей на лошадиные зубы?

Да если б хоть зубы – а то же только один-единственный и можно распознать на том осколке, что ты в кулаке тискаешь. Один отпечаток чего-то похожего на зуб, да от двух соседних по краешку. И то как следует не рассмотрел – лишь случайным взглядом укололся об эту похожесть, и сразу же ударился в бега.

Вот, стало быть, и конец тебе, отважный человек да редкостный золотых и прочих дел умелец Жежень-меньшой. Пропил ты отвагу свою, во хмелю утопил, а без отваги и подлинное умельчество невозможно.

Ишь ведь, кинулся на дождливую холодную ночь глядя – как был, босой, в тонких портах да знобливой рубахе... Взмок, вымерз; из носу льет как бы не хлеще, чем с ненастного неба; в горле будто ежи чехарду затеяли... Непременно ты нынешним вечером застудишься насмерть (это коли еще не уже).

Насмерть... Ну и славно. Туда тебе и путь скобленной столешницей.

Заплачет ли Векша, когда дознается? А ежели заплачет, то от чего? От жалости к бывшему другу своему Жеженю, или по мечевой рукояти, которую ты сделать-то сделал, но не успел отдать?

А рукоять, право слово, ладная получилась. Лежит себе она, в стойне припрятанная, часа своего дожидается... Увидит Векша – поймет, небось, каков умелец Жежень Молодший... зауважает прежнего пуще... а там, глядишь... Может, все-таки рано еще помирать?

Но тогда валяй, дурень, грейся тем, чем только и можешь теперь: родимым паром.

Жежень припустил бегом.

К Идолову Холму вел не один прямой торный путь, но от Чарусина подворья к любому из этих прямых надо было бы дать презряднейшего крюка. Так что Жежень, выгадывая время,

кинулся петлять дорожками-тропками, налипшими на Междуградье огромным подобием безалаберной паутины. Но выгадывание как-то не получалось. Глянешь – вроде бы вон он, Холм, рукой подать до него; а на деле... Кажется, уж не одну версту отмесил задубелыми своими ногами, а каменное медведище если и надвинулось, то лишь самую чуточку. Ну вроде бы сила какая пакостная так и норовит вести куда угодно, кроме нужного направленья!

Плохо. Вот-вот совсем смеркнет, а при тебе из оружия одни кулаки, и даже путный дрын выломать неоткуда. Старики говорят, раньше безопасно было бродить Междуградьем хоть днем, хоть ночью, хоть по общим езженным дорогам, хоть как. А теперь... Какая может быть безопасность, ежели во всех трех родах, взятых вместе, крепких общинников осталось меньше, чем живет в округе самочинцев? А самочинцы – они самочинцы и есть. Одно слово – изверги. Недаром Корочун зовет нынешние времена междувременьем: старый обычай, дескать, себя изжил, а новый еще лишь проклевывается. А однажды премудрый волхв назвал такое вовсе уж заковыристо: перекатом времен (в иносказанье падок он, старый, на пустопорожнюю выпренность).

Очередная явно много и часто хоженная лента расквашенной грязи, тянувшаяся вначале напрямиком к Холму, пошла все круче забирая в сторону, а потом уперлась в какой-то кустистый взгорбок и вообще исчезла. Нехорошо поминая бестолковых протаптывателей, Жежень заозирался, соображая, как бы скорее выбраться из внезапного тупика, да и остолбенел, углядев неподалеку две едва различимые в сумерках приметные тесовые крыши.

Он узнал это место, хоть был здесь единственный раз и давным-предавным давно.

...Тот давний вечер выдался таким же хмурым да моросным. Разве что теплее было тогда, куда как теплее...

Путейка, сын Буса-хлебопашца, привел с собою какого-то вовсе уж недоростика, щуплость которого казалась еще потешнее из-за нелепой одежды. В его штанах да рубашке уместились бы трое-четверо таких мозгляков; зимний мохнатый треух (это в теплынь-то!) тоже был чересчур велик и постоянно сваливался на облупленный шмыгающий нос... До того никчемным казался незнакомый малец, что даже высмеивать его сочли делом скучным.

Высмеять попытались Путейку. Откуда, мол, выгреб такого; и не оттого ли припоздал, что раздобывал ему штаны – он же еще, поди, не дорос иметь собственные, а эти вот, что на нем, явно с чужого плеча, гы-гы-гы!

Путейка вытерпел все это молча, нарочито позевывая. Когда же поток шуток иссяк, Бусов сынок сообщил, что, во-первых, малец мальцом только кажется (просто удался щуплым). А во-вторых, он сумеет заговорить охоронных псов.

Последний довод выставил мальчика совсем в ином свете. Для набега на одно из самых богатых подворий Междуградья умышленно выбрали дождливую ночь – тот же Путейка, наиопытнейший в подобных делах, объяснял, будто дождь собакам не только нюх отбивает, но и тупит слух. Прочие этим объяснениям верили, однако собак все равно боялись.

До межи владений Шульги (старого ямыца, подлинное имя которого поди упомни, а упомнишь – попробуй выговори!) добрались, когда совсем уже смеркло. Впрочем, летние ночи, даже ненастные, редко бывают по-взаправдошнему темны.

На меже Путейка велел всем залечь и ждать, а сам со своим недомерком канул в дождливые сумерки: отправился, стало быть, заборматывать песьи памороки.

Оставшиеся залегли у подошвы довольно высокого взгорбка, густо обросшего кустами да бурьяном.

Дождь усиливался, размокшая земля быстро теряла припасенное за день тепло, и набегщиков вскорости начал пробирать озноб. Мгновенья тянулись невыносимо медленно. Где-то вяло и редко влаивали собаки, но от смутно виднеющихся невдалеке строений ямьского подворья не доносилось ни звука – вроде бы и хорошо, что там тишина да покой, а только чего же этак надолго запропастились ушедшие? Мало ли... Ну, как дошлый ямец со своими

сынами-обломами втихаря изловили Путьку да неведомого задохлика, и уж крадутся сюда – вылавливать прочих злоумыслителей?

Тревога "прочих злоумыслителей" все крепла да крепла. А тут еще кто-то слазил к вершине бугра (чего только вздумалось непоседливому дурню елозить по мокрым зарослям?!) и напугал остальных хрустким шорохом неподатливых жестких стеблей. А потом, вернувшись да снеся ливень еле слышной, однако весьма завзятой брани, этот самый непоседливый дурень напугал всех еще страшнее.

По его словам, на вершине бугра обнаружился невысокий срубик вроде колодезного – место для подношений Чуру.

Так же тихо, как только что брань, затеялся спор: выйдет ли удача в набеге, если перед ним столько времени пролежать близ зачуранного места? Небось, хранитель границ, межей да оград уж успел и приметить залегших скрадников, и до самых мелочей вызнать их умысления. И теперь...

Так и осталось неузнанным, что за кровожадные беды уже принялись точить на бесталанных набегщиков свои клыки да когти "теперь". Потому что проклятый непоседливый дурень вдруг удумал ляпнуть такое, от чего те, прошлые, недопридуманые напасти мгновенно сделались... ну, вроде как новорожденный лисенок против матерущего волчины-одинца.

Хуже нет, чем непоседливость при загребущих лапах да языке без костей... Впрочем, нет, бывает и хуже: когда все перечисленное добавлено к беспросветному скудоумию.

Ну, заглянул сдуру внутрь чурного сруба; ну, увидел внутри жертвенный камень с одной-единственной обомшелюй требой на нем... Так и отпрянь себе да помалкивай, ежели умный; или растрепись об увиденном и без того встревоженным приятелям – это ежели ты дурак... Но надо ж быть не дураком, а просто напрочь пустоголовым каким-то, чтоб вдруг, ни с того, ни с сего сунуть этим самым приятелям прямо под их шмыгающие носы желтую костяную бляху да спросить: "А че это я там, в срубе, на жертвеннике нашел такое странное?"

Бляха. Кость, выжелтенная не столько временем даже, сколько ремесленным умельчеством; а на ней резьба... Плоховато видимая в сумерках, надъеденная временем... но – увь! – вполне еще различимая. Круг, растопырившийся извивистыми зубчиками-язычками. Лик Хорса Светодарителя. И вписанный в него серпик новорожденного волчьего солнышка.

Знак Двоесущного.

Кто-то выбрал это место для жертвы (для страшной жертвы – уж Его-Ее суетными просьбами не тревожат!), препоручив сохранность требного камня Чуру.

Объяснять это пустоголовцу, по недомыслию обокравшему Потаенное Божество, никто, конечно же, не осмелился: ну как сказанное вслух подведет сказавшего под то, что покуда еще может пасть только на украдника, на воздвижителя жертвенника да на Чура, который не сумел оный жертвенник уберечь.

Пустоголовцу без всяких объяснений в шесть рук надавали по лопухам и велели немедленно покласть, где лежало.

За ссорой они прозевали возвращенье Путьки. Тот, впрочем, не попрекнул раззяв ни единым тумачком (и даже ни единым словечком). Бусов сынок был слишком доволен ходом затеянного дела: в избе тихо, псы утомлены – заходи в хлев да выбирай подсвинка пожирнее. Это, впрочем, как бы не наиглавнейшая сложность: поди возьми поросенка тишком, без визга! Что ж, Путька тертый малый, ему не впервой. Да и большинство из прочих не в первый раз соблазнились хвастливыми рассказами Бусова сына и возможностью сказочного угощения: поросенку-то выкраденному судьба быть зажаренным да съеденным еще до полуночи... это, конечно, ежели дело пройдет ладно, в чем уже крепко сомневались все, кроме неосведомленного о последних событиях Путьки.

И сомневались они не зря. Двоесущное ли снизошло взбелениться, отмстил ли Чур, незаслуженно подведенный под немилость Его-Ее... Так или иначе, но со стороны ямьского

подворья внезапно послышался песий брех, потом людские выкрики – хоть и на чужом языке, но все равно понятно, что заполошная ругань... А через миг-другой донеслось и частое-частое шлепанье маленьких босых ног: выдав себя, неопытный сосунок поволок погоню туда, где таились остальные.

"Смахивайтесь!!!" – гаркнул Путьейка, и послушная ватага мгновенно "смахнулась" с бугряной подошвы. Как он и учил – врассыпную, кто куда.

А Жежень (впрочем, тогда он был Жежкой) остался подождать сопливого растяпу.

Почему?

А враг их обоих знает.

Сосунок был из прибрежных, тропок здешних наверняка толком не знал, да еще ошалел от ужаса – лакомая приманка для ямских охоронных собак. Ну и тем лучше: при всей его никчемности миг-другой погоня на нем потеряет и остальным легче будет унести ноги...

И все-таки Жежка вскочил во весь рост, замахал руками набегающей темной фигурке: сюда, мол, скорей давай!

За ними погналась только одна из Шульговых псин (прочие рассыпались за рассыпавшейся ватагой Путьейки). Но и от одной такой двоим подросткам бы не отбиться. Похоже, сопливый горе-заговариватель добился лишь того, что собаки взлаiali с запозданием, а главное – взлаiali необычно, не как на просто людей. И хозяева с перепугу науськали своих зверюг по-настоящему, да еще, кажется, не больно-то спешили отправляться следом. Так что дело оборачивалось – хуже некуда.

Жежка мчался через поля, не разбирая дороги. По ногам больно хлестали мокрые колося недоспелого ячменя; вконец выдохшегося злосчастного никчемушника уже приходилось тащить за руку... может быть, даже волоком – будущий златых дел умелец боялся упасть, а потому и оглянуться боялся; он только горбился, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть впереди и внизу, чувствуя, как все сильнее да сильнее рвется из пальцев склизкая от пота сопляческая ладошка...

Потом был показавшийся бесконечным проход меж двумя плетнями, и, наверное, за плетнями этими сорвались тревожным лаем тамошние хозяйские псы, но Жежка слышал только неотвратимо настигающее мягкое гугуп-гугуп-гугуп да частые полувыдохи-полувзрыки у себя за спиной...

Проход выплюнул их на косогор-пасовище. Впереди в сумеречной мгле завиднелась словно бы река вовсе беспроглядного мрака – овраг, к которому и рвался Жежень Молодший. Если бы успелось скатиться вниз да выкарабкаться хоть до середины противоположного обрыва... Матерой псине того обрыва ни в жизнь ее песью не одолеть, а пока она сыщет обход...

Но именно теперь, видя уже спасение, Жежень безошибочно понял: не успеть. А тут еще под ногу подвернулась враг знает откуда взявшаяся сучкастая дровиняка... По босой пятке как топором тянули, парень с невнятным воплем кувыркнулся через голову, вскочил, сгоряча кинулся бежать дальше, хоть на ушибленной ноге вместо ступни болтался ком прожорливой боли... О сопляке-пащенке он вспомнил лишь чуть ли не через пол-десяток шагов, когда позади вякнуло коротко, и отчаянное это вяканье тут же подмял злорадный победительный рык.

И снова Жежка удивил самого себя.

Ему бы, пока собачина догрызает мозгляка, воспользоваться негаданной возможностью унести ноги, а он...

Он кинулся назад. Опять споткнулся о ту же корягу, но не упал – нагнулся, подхватил ее, увесистую, вскинул обеими руками над головой, ревя яростней кровожадной псины...

А хлипкого недоростика уже вовсе не видеть было под навалившимся псом; и выручать явно уже было некого, но будущий златоумелец, набежав, изо всех сил хряснул коряжиной

по вскинувшейся ему навстречу острой морде, по сумеречному отблеску ощеренных жадных клыков...

Он промахнулся. Его недоладное оружие лишь скользнуло по собачьей голове, но даже от этого едва ощутимого удара невесть сколько лет гнившая на выгоне деревина так и брызнула трухлявой щепой... А собака, полоснув Жежкин слух пронзительным визгом, вдруг пошла заваливаться на бок – вяло, не по-живому... И только когда туша кудлатого полуволка бесформенной грудой шерсти осела на изгрызенную скотиной траву, Жежка осознал, наконец, что смертный собачий визг был не после его удара, а до... Осознал потому, что рука вбитого спиной в землю недомерка безжизненно потянулась за отвалившейся дохлой звериной.

"Вот тебе и сопляк-никчема!" Казалось, целую вечность проторчал тогда Жежка шест шестом, мусоля-пережевывая эту крайне умную, невероятно своевременную мысль.

Лишь через враг знает сколько годоподобных мгновений дошло до него, что сопляк по-прежнему бездвижен – только живот его сопляческий, и без того тощий, раз за разом немисливо проваливается внутрь себя в такт хриплым натужным выдохам; что рубаха на соплячьей груди изодрана, скомкана; что по рубахе этой расплылись пятна, выдегтяренные обманными сумерками...

Упав на колени, будущий златоумелец обеими руками схватился за ворот парнишкиного одеянья, рванул... То, что скрывалось под рубашечным полотном, было грязным и очень тощим. Ни раны, ни чего-нибудь еще Жежка разглядеть не успел: самым краешком зрения он запнулся о чуть более темные, чем окружающая темень, извивы в траве...

Сын кузнеца Жеженья-старого ойкнул, вскочил; едва сумев побороть гадливость, изо всех сил топнул босой ногой по струйчатым тьмяным отблескам, вливавшимся под затылок обморочного недомерка... Но нет, это была не змея-медянка. Это слетевший к лешему куда-то мальцов треух выпустил на волю тощую косичку, похожую на мокрый беличий хвост...

И Жежка, растерянно переведя взгляд, уставился на две крепенькие завязи, вполне различимо бугрящие оголенную костлявую грудь "парнишки"...

Жильный сок, запятнавший девчонку, был в основном песьим. Не удалось парню разыскать на тщедушном былиночном теле ни одной раны, кроме длинной царапины – клык полудикой зверюги, наверное, самым кончиком чиркнул по левой грудишке. Правда, царапина казалась неприятной. Глубокая, рванная – такое лишь запусти...

Вышаривать подорожник среди трудноразличимых впотьмах травяных стеблей не было времени: владельцы окрестных подворий, слыша творящееся невесть что, вполне могли выпустить своих волкодавов на помощь Шульговым (землепашцы редко в ладах с соседями, но ничто так не мирит хозяев, как близость татей-украдников). Потому Жежка без колебаний пустил в ход то целительское средство, которое не из самых действенных, зато всегда наготове: язык. А девчонкины пальцы выпустили, наконец, торчащую из собачьей груди рукоять ножа, сложились в маленький, но на диво твердый кулачок и пребольно звезданули доброхотного целителя по уху...

...Именно тогда ты, мил-друг Жежень Молодший, открыл, что меж девками тоже попадают люди...

...Ладно, не самое подходящее время вспоминать о былых озарениях – лучше б тебя озарило, что да отчего творится теперь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.